

Вещь

1(17)/2018

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Поэзия

Евгения Изварина

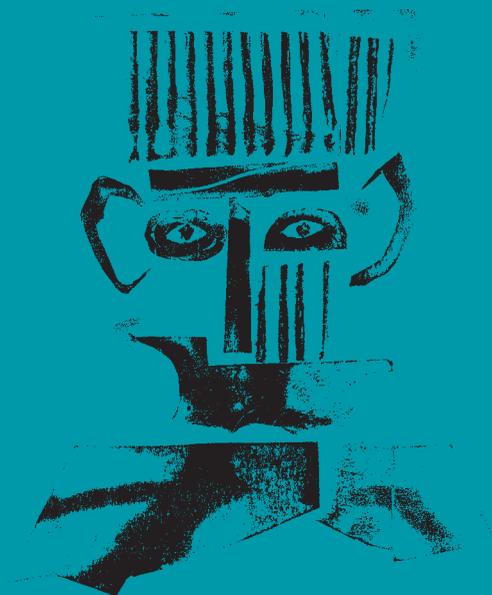
Денис Быков

Проза

Алексей Сальников

Павел Селуков

Памяти Надежды Гашевой



Вещь

1(17)/2018

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

18+



Содержание

- 3 **Евгения Изварина** *По кромке рая (стихи)*
- 6 **Павел Селуков** *Тайная победа; Весенний вальс под картошку; Луций и Венера (три рассказа)*
- 15 **Денис Быков** *Конь, Орёл, Сова и другие животные (стихи)*
- 20 **Алексей Сальников** *Три истории (рассказы)*
- 30 **Ян Кунтур** *Аквинкумская яблоня (стихи)*
- 37 **Антон Корвски** *Луиза (рассказ)*
- 45 **Наталья Земскова** *Дневник пионерки (главы из романа)*
- 87 **Андрей Мансветов** *Вода течет сквозь меня (стихи)*
- 90 **Катерина Гашева** *14 февраля (рассказ)*
- 96 **Альмира Зебзеева** *Бесстрашная душа (памяти Надежды Николаевны Гашевой)*
- 100 **Денис Быков, Владимир Бекметьев** *Оправдание не за горами (краткий путеводитель по книгам «Ошибка препятствия» Руслана Комадея и «Недужный падеж» Владимира Бекметьева)*
- 110 **Мария Горбач, Юлия Подлубнова, Наталия Санникова, Александр Самойлов, Ольга Школина, Валентина Ясырева** *Рецензии на книги Сергея Терешенкова, Юлии Кокошко, Александра Самойлова, Александра Петрушкина и Антона Бахарева-Чернёнка*
- 122 **Авторы номера**

Евгения Изварина

По кромке рая



здесь
отпускай карниз

из ледников
этих гортаней, из
тех тростников
шорох дыханья весь
вылетел ввысь

как-нибудь так очнись
чтобы — не здесь

судьба взятяг
без огонька

во всём и так
твоя рука

дождь вышел весь
и снег возлёт

там или здесь
твоя возьмёт

не поджигай колосья по браздам
отца и сына

один другому, сколько б ни воздал
всё — половина

Геннадию Каневскому

на просвет не подковырка
подареньице-пустяк
деревянная кобылка
на серебряных гвоздях
полетит быстрее ветра
вспыхнет чёрным янтарём

гвозди
выстудив из пепла
в добры руки отдаём

Павел Селуков

Тайная победа



В соседнем доме, который мог бы прилегать к моему верхней перекладиной буквы «Т», жили восьмилетние: Топа, Шiba, Кока, Киса, Дрюпа и Саврас. А я приехал с Кислоток и был весь такой солидный, девятилетний. С велосипедом. Батя на «Велте» работал, и им зарплату великами выдали. Сейчас мне кажется, что это был намек, типа — а катитесь-ка вы отсюда. А тогда я очень обрадовался. В девять лет ценность денег неочевидна. Зато от своей «Камы» я прямо отойти не мог. То есть я реально на ней не ездил, а катал по двору. Старик Виктор, сосед наш, «конюхом» меня дразнил. А потом я научился. Упал, конечно, пару раз. Один раз в лужу даже. Но искусством ов-

ладел. На Пролетарку я уже состоявшимся велосипедистом прибыл.

А тут, значит, Топа, Шiba, Кока, Киса, Дрюпа и Саврас. Малолетки. Только-только на велики сели. По-девчачьи седлают. Не над сиденьем ногу пронесают, а над рамой вставляют. Вокруг дома круги наматывают. А на Пролетарке тогда чего только не было! Вместо «Времен года» Шанхай стоял. Это такой частный сектор, где огороды и цыгане. Цыгане там «винт» варили, но я об этом тогда не знал. Я его намного позже попробую. Всем пролетарским пацанам, у которых бабушек в деревне не было, этот Шанхай деревню заменял. Там гуси щипучие жили. Петух-гоголёк. Корова томная ходи-

ла. Это если пёхом, а если на великах, то вообще шикардос. Велики высокие, и с них забор можно заглядывать. Да и гусей дразнить безопаснее, потому что всё равно уедешь.

Ещё хорошо было ездить на Красноборскую. Там какой-то богатей замок построил. А замок — это ведь почти Айвенго. Все равно, что ты вот читал-читал книжку, а потом увидел. Если по Красноборской до конца проехать, там кладбище. Машин нет, а дороги есть — гоняй, сколько влезет. Я там отработывал такое, знаете, крутое торможение, когда — фууух! — и вбок.

Но самое интересное, конечно, это в Закамск гонять. Вглубь. На Героя Лядова. Или даже на Стадион. Или вообще на Водники, где кладбище кораблей. На Каму на «Камах», каламбур такой. Когда туда едешь, Комсомольский поселок проезжаешь. Говорят, его пленные немцы строили, и поэтому дома там не по-нашенски выглядят. Они все двухэтажные (кроме общаги четырехэтажной, я в ней потом буду жить, когда меня в розыск объявят), и каждый как бы со своей подробностью. Один дом такой, другой вот такой, а на третий с торца что-то наклеплено. Это прямо замечательно было, потому что наши дома все одинаковые и на дома не очень похожи. Будто мы все в коробках из-под холодильников живем, только больших и бетонных. На самом деле это, конечно, не так. Я потом буду бомжевать и три ночи в такой коробке переночую. Исключительный опыт, не то что в панельке копчик протирать.

Я все эти места один исследовал, а когда с Топой, Шибой, Кокой, Кисой, Дрюпой и Саврасом познакомился, то с собой их позвал. Мы на «кузнечике» подружились. Это такая качель. Бревно такое железное, за которое с двух сторон руками надо браться и ногами землю толкать. Саврасу этой качелью голову пробило, и мы все стали его спасать. Несчастный случай нас вроде как сдружил.

Топа и Шiba — братья. Они подпева-ли. У них мама в больнице работает, а папа дома строит. Кока высоченный, выше меня, хотя и восьмилетка. Он сам себе на уме, и про него никогда ничего не понятно. У Кисы

папа офицер. Киса тоже на офицера похож. Прямой весь, с таким, знаете, лицом... Моя мама называет его «породистым». Не знаю. Я когда слышу «породистый», сразу ротвейлера представляю. А у Кисы как раз ротвейлера, прикиньте? Породистый с породистым гуляет, каламбур такой.

Дрюпа — хоккеист. Его родители в «Молот» возят, поэтому он с нами не очень часто бывает. У Дрюпы голова квадратная. Я его иногда по голове глажу и говорю: «Не плачь, мальчик, у тебя голова не квадратная». Это моего папы шутка. Он так надо мной шутит, а я перенял. Не знаю. Может, это унизительно, но никто не обижается. Такие уж мы люди.

Саврас очень быстро бегаёт. Мы тогда не знали, что саврасками лошадей называют, а то смеялись бы, наверное. Он с мамой одной жил, потому что папа пил-пил и умер. Саврас его плохо помнил. Помнил только, что отец ему кинжальчик из дерева выстругал. А так батя у него сначала в тюрьме сидел, а потом с мужиками ползал. Саврас вообще молчаливый весь, будто ему не восемь, а десять с хвостиком.

Пацаны тогда второклашками были, а я третьеклашкой. Я ещё не знал, что через год меня в 5 «е» переведут, и петухами я уже не птиц буду называть, а живых людей. Я тогда думал, что я всегда с Топой, Шибой, Кокой, Кисой, Дрюпой и Саврасом буду дружить. Если б я знал, что только одно лето с ними буду дружить, я бы, наверное, по-другому дружил. Но мы ведь таких вещей никогда не знаем, правда?

В тот день, о котором я толкую, мы прямо с утра все собрались, чтобы поехать на кладбище кораблей. Киса про Миклуху-Маклая знал, и мы эту поездку «экспедицией» называли. «Инвайта» набодяжили. Бутербродов взяли. За домом уже стояли. Дрюпу поджидали. Дождались. Тут к нам Сито на «Урале» подъехал. Сито в моем подъезде жил и клей мохал. Я к этому плохо относился. У меня друг был на Кислотках — Сашка Куляпин, он к бабушке в Челябинск поехал, намохался и уснул прямо на рельсах. В закрытом гробу похоронили. А Сито был старшак, и я его побаивался. А он подъехал и давай над Савра-

сом прикалываться, что у него шорты с обезьянами, а значит, он сам обезьяна. Сите тринадцать лет было, и мы все молчали, а он по нам проходил. А я вроде как старший и не должен такого спускать.

«Чего — говорю, — Сито, прицепился, едь, куда ехал». А он такой — я-то уеду, а ты на моем велике даже уехать не сможешь, мелюзга! А я — чего это я не смогу, очень даже смогу! На меня пацаны смотрят, и мне вроде как неудобно на попятный идти. Только на «Урале» я на самом деле никогда не ездил. Взрослый велик. Рама гигантская. Так сразу и не поймешь, как к нему подступиться. А Сито говорит — на, прокатись, если не трусишь. А я за руль взялся, и понимаю, что не смогу с асфальта на него сесть. Смекалку проявил. Рядом такая железная штука стояла, на которой ковры хлопают. Возле трех машин припаркованных. Я к ней велос подкатил и уже с неё на него взобрался. Но на сиденье я не смог сесть, потому что до педалей не дотягивался, а сел на раму и всё равно только носочками дотянулся. Неловкость прямо такая, будто ты что-то громоздкое пытаешься нести, а оно не несется. Оттолкнулся, поехал. Сито смотрит насмешливо. Пацаны во все глаза глядят.

А у меня не получилось. Я немножко буквально отъехал и как бы накренился. В машины припаркованные меня понесло, и я в «Волгу» передним колесом въехал. А в «Волге» мужик сидел из моего подъезда. Начальник какой-то с завода. Мы об его

существовании даже не знали. А я в машину въехал и дверь белую испачкал. Не знаю, где уж там Сито ездил, но грязи на колесах было полно. А я когда въехал, то с велосипеда упал, а мужик из машины выскочил, грязь увидал и схватил меня за шкурку, и давай под жопу мне пинать. Раз пнул, два пнул. Смотрю — Сито велос подобрал и укатил. А мужик, видимо, очень свою машину любил, потому что пинает и пинает, не останавливается. Я уже на колени упал, а он всё пинает, но не под жопу уже, а в спину и куда придется.

Тут слышу — Саврас как сумасшедший заорал. А потом все прямо заорали: Топа, Шибя, Кока, Киса, Дрюпа. Им, наверное, очень страшно было, потому что они сначала заорали, а потом всей оравой на мужика набросились. Нетипичное такое поведение для детей. Это я сейчас понимаю, а тогда мне просто хотелось, чтобы меня пинать перестали. А мужик от такого наскока обалдел. Ну, то есть он растерялся и в машину шмыгнул, а мы велики похватили и уехали подальше, чтобы он нас больше не бил и чтобы дух перевести. А потом мы погнали на кладбище кораблей, и прямо такой у нас счастливый день получился, что я его до сих пор помню. Про этот случай с мужиком мы никому не рассказали. Ни родителям, ни в школе, ни вообще никому. Это наша тайная победа была, и мы ей потом очень гордились. Жаль, что у нас только одно такое лето было, но ведь и одно такое — это уже кое-что.

«Весенний вальс» под картошку

Пятница. Вечер. Наши дни. Где-то в утробе Закамска Виталий забросил мешок картошки на плечо и побрел на пятый этаж. Он был грузчиком-экспедитором и немножко дурачком. В семнадцать лет Виталий занемог дышать, а поход по врачам выявил шизофрению. Полугодовое лече-

ние галоперидолом на Банной горе не помогло. Только через три года выяснилась правда — шизофрении нет, есть смещение позвонков. Пройдя трехмесячный курс у мануального терапевта, Виталий вернул себе кислород. Правда, он почему-то перестал играть на пианино, решать уравнения,

сочинять стихи, читать книги. А ещё прежде общительный парень наглухо замолчал. Собственно, именно в силу всех этих обстоятельств он и стал грузчиком-экспедитором.

Работал Виталий три раза в неделю. Высокий и крепкий, он разгружал «бычок». Рано утром парень приезжал на рынок в Заостровку, где грузил в машину четыре тонны овощей. Потом он отправлялся по адресам, потому что работал в конторе, которая занималась доставкой продуктов на дом. Рейс начинался в девять утра, а заканчивался около одиннадцати. Виталий зарабатывал две тысячи рублей за один такой выезд. Ему нравилось колесить по Перми, запоминать улицы, вглядываться в проносящиеся автомобили. Внешне он был обычным молодым человеком, а вот внутри происходило интересное.

Интересное происходило на фоне молчания и напоминало всплеск. Иногда это была музыка, которую Виталий когда-то играл собственными руками. Иногда обрывки уравнений, химические формулы, заковыранные теоремы. Иногда просто бывшая подруга и как они гуляли по набережной, сочиняя будущее. Эти всплески парень наблюдал сосредоточенно, будто силился ухватить рыбу, всплеск породившую. Ухватить рыбу никак не удавалось. Редко всплеск следовал за всплеском. В такие минуты Виталий впадал в ступор и мог пробыть внутри себя целый час.

Поднявшись на пятый этаж, парень скинул мешок на пол и позвонил в дверь. Из квартиры доносилась музыка — русская попса. Виталий поморщился и снова нажал на звонок. Дверь открыла женщина. Она выглядела одутловатой и чуть-чуть пьяной.

— Тебе чего?

— Картошку привез.

— Какую картошку?

— Белую. Красноуфимскую.

— Бабка что ли заказала?

— Наверно. Моё дело привезти.

— Ладно. Тащи на балкон. Разберемся.

Виталий вскинул мешок на плечо и вошел в квартиру. Миновал полутемный коридор. Протиснулся в гостиную.

На диване за журнальным столиком выпивали трое — женщина и двое мужиков. Один мужик был крепким и лысоватым. Второй, наоборот, тощим и патлатым. Женщина выглядела изможденной. Сквозь копну жидких волос просвечивал череп. Напротив дивана, у стены, стояло пианино. Пока Виталий устраивал мешок на балконе, троица громко обсуждала его появление в самых красочных выражениях. Кто-то выключил магнитофон. Хозяйка квартиры стояла возле балкона и молча наблюдала, как парень возится с мешком, который надо было уложить между банок. Закончив, Виталий снял перчатки и вышел в комнату.

— Сколько с меня за картошку?

— Тысяча рублей.

Женщина обернулась и обратилась к лысоватому:

— Тыщу надо. За картошку отдать.

— И чё?

— Ничё. Давай деньги.

— Ты совсем о***ла, Светка! Нету у меня.

— Ты гонишь, что ли?

— Твоя бабка заказала, вот пусть и башляет.

— Витя, ну не начинай, а? Она же в больнице. Ну, Витя?

— Х*итя! Будешь ныть, я те щелкну, ясно?

Тут к разговору подключилась изможденная женщина.

— Ты забурел, Витек. Картофан — это святое. Отдай человеку деньги и давай пить.

— Вы чё, соски, сговорились? Нету у меня денег!

Витя хохотнул, толкнул патлатого друга плечом и проговорил:

— Вот ведь бабы настырные, а?

— Определенно, определено.

Однако хозяйка квартиры от Вити не отстала.

— Слышь, Витек. Ты здесь живешь, пьешь, спишь со мной каждую ночь. Ты мой гражданский муж, если чё!

— И чё?

— И чё! Оплати картошку. Хорошо вилять. Сколько можно человека задерживать. Неудобно.

— Неудобно на потолке е****сь. Остальное — нормалек. Ты мне за гражданского мужа даже не прокидывай, поняла? Знаю я, чем ты за моей спиной занимаешься.

— И чем я там занимаюсь?

— Б****шь, дрянь.

— Молчал бы лучше, кобель проклятый! Я девушка верная, порядочная. Такими глупостями не занимаюсь.

Тут изможденная будто бы не выдержала и захохотала. Хозяйка мгновенно окрысилась.

— Чё ты ржешь, Людка?! Дура набитая. Ржет она. Заплати за картошку, Витя. Быстро заплати, я сказала!

Хозяйка квартиры перешла на высокочастотные звуки и швырнула в мужика стакан. Тот увернулся, вскочил, схватил женщину за руки и проорал прямо ей в лицо:

— О****сь, мать!

Изможденная и патлатый бросились их разнимать. Началась свалка и крики.

Виталий, который еще в самом начале ссоры ощутил всплеск, вдруг сел за пианино и открыл крышку. Робко коснулся пальцами клавиш. Сначала черных, а потом белых. Всплеск следовал за всплеском, и он уже

ничего не слышал, кроме музыки, звучащей внутри. Тряхнув головой и будто бы решившись, парень заиграл «Весенний вальс». Поначалу его пальцы были вялыми, как после наркоза. Но чем дольше он играл, тем сильнее они становились.

Когда Виталий закончил, в комнате повисла тишина. Спорщики сидели на диване и смотрели на музыканта во все глаза.

— Ты, это самое, маэстро!

— Это что было? Моцарт, да?

— Охренеть. А я всё думал — зачем оно здесь стоит?

— Витя, заплати уже за картошку, я тебя умоляю.

— Блин... Ну, нету у меня! Нету, понимаешь? Пятихатка всего. И никакая музыка этого не изменит.

Вдруг патлатый внес предложение:

— У меня есть пятихатка. Давай мешок на двоих возьмем, да и всё.

Так приятели и поступили. Через пять минут Виталий сел в «бычок» и поехал дальше. Конечно, та игра на пианино не исцелила его. Зато теперь он играет на нем регулярно, и ему хорошо. А хорошо — это немало. Хорошо — это уже кое-что.

Луций и Венера

Пермь. Август. Центральная кофейня. Я сижу на мягком, как облако, диване. Бесшумный кондиционер облизывает лицо. За окном-витриной снуют прохожие. Они отбрасывают длинные тени. Я наблюдаю за ними, как рыба из аквариума. Холодно, вскользь, равнодушно. Я вообще равнодушный человек. Это всё из-за того, что я эгоист. Не какой-нибудь нарочитый эгоист, а природный, кристаллический. Мне и правда плевать на других людей, понимаете? Не вижу я в них ничего особенного. Мещанчики, буржуйчики, трусишки. Про них Гессе в свое время очень точно написал. Не будем об этом.

В Центральную кофейню я пришёл, потому что хотел убить время. Стриптиз-клуб «911» открывался только в десять. В общем-то, он мне уже поднадоел, как и Диана с Алисой, с которыми я там развлекался. Они были ничего, но жутко тупые. Иногда мне хотелось заклеить им губки скотчем. Иногда я их действительно заклеивал. Короче, назрела потребность в девчонке поутонченной. Не то чтобы я желал душевной близости, это было бы уже слишком, однако интеллектуального флирта и разговорчиков в стиле Хемингуэя мне бы хотелось.

Ладно. Вот вам правда. Я пришел в эту хипстерскую кофейню, чтобы подцепить какую-нибудь высоколобую нимфу. Студентку истфака, например, или филологиню. Лучше рыжую, конечно, но в принципе годилась любая, лишь бы поговорить флиртов, пост-модерново, с огоньком. И вот сижу я такой в этом облачном кресле, пью кофеек и наблюдаю. Не то чтобы озираюсь по сторонам, но головой шевелю, интересуюсь. Вы, наверное, встречали таких крутых парней — кеды из «Гута», джинсы «Левис», футболка с принтом Карлина, очки Терминатора. Будь я телкой, сам бы себе дал, честное слово.

Подходящая девушка появилась где-то через час. У меня на подходящих нюх. Не знаю даже, как это объяснить. Просто возникает непреодолимое желание с ней заговорить. Что-то в лице, пожалуй. Или запах, походка. Иногда — жест. Увижу, например, как она прядку со лба отбросила, и сразу понимаю — приплыл. Раньше-то я пацанок выбирал, стриптизерш всяких, а тут к высоколобым пригляделся. Серенькие в основном, но эта... Она едва вошла, я сразу смекнул — мой вариант. Во-первых, рыжая. Во-вторых, кожа белоснежная. Бродский со своим паросским мрамором тихо курит в сторонке. В-третьих, она зал оглядела, как львица. Так хозяйева жизни смотрят, мелочь пузатая так смотреть не умеет. В-четвертых, мы с ней взглядами встретились. Так встретились, что хоть электриков вызывай. Она замерла, я замер. И улыбаемся оба одной улыбкой на двоих. До того неожиданно получилось, что я даже на секундочку испугался к ней подойти. Со мной этой херни лет десять уже не случалось.

Такое бывает, кстати. Иногда проще человека убить или ювелирку грабануть, чем какую-нибудь ерунду сделать. Однако в этот раз я быстро взял себя в руки. Меня потому что к ней, как под действием гравитации, тянуло. Вблизи она оказалась ещё интереснее, чем с моего дивана. Брови густые, очерченные скулы, нос нормальный, не кнопка, губы упругие, настоящие. А самое крутое — платье и босоножки. Есть у меня фобия — я терпеть не могу человеческие ступни. Мне

даже свои собственные не нравятся. Как-то беспомощно-жалко они выглядят. Иной раз смотрю на девчонку — конфетка, а на ступни гляну и думаю: «Потерялась бы ты уже где-нибудь, милая!» Здесь я тоже на ступни сразу посмотрел. То есть я периферией подсек, что она в босоножках, и сначала решил ни за что не смотреть, но тут же посмотрел. Первый раз в жизни не разочаровался, честное слово. Офигенные ступни, никогда раньше таких не видел. Я щас долго рассказывал, а в голове у меня всё это за секунду промелькнуло. Со стороны это выглядело так — парень подошел к столику, наклонился к девушке, поймал её взгляд и сказал:

— Привет. Хочу выпить с тобой кофе.

— Привет. Ты уверен?

— Конечно. А почему я должен быть не уверен?

— Не знаю. Может быть, потому что я жду своего парня. А может быть, потому что со мной опасно пить кофе.

— Так ты ждешь своего парня или с тобой опасно пить кофе?

— Не устраивай сцен. Сядь уже.

Начало разговора меня позабавило. Я сел за столик.

— Ты не ответила на вопрос.

— А ты настырный...

— В маму.

— Правда? А какая она, твоя мама?

— Ты это щас серьезно? Хочешь послушать про мою маму?

— На самом деле — нет. Я и так про нее все знаю.

— Неужели?

— Какой ты лаконичный. Мне нравится. Ладно. Слушай. Как тебя зовут?

— Евген. То есть Евгений. Можно — Женя.

Рыжая рассмеялась. Хрустально так, будто окно на верхнем этаже разбило, а стеклышки на мостовую сыплются, ударяясь о булыжники.

— По-твоему, Евгений — это смешно?

— Смешно. Если знать все факты.

— Какие факты?

— Я — Евгения. Можно — Женя.

Я усмехнулся. Не так, чтобы это было уж очень смешно, но забавно. Конечно, Женя

могла бы смеяться менее откровенно. Хотя она так смеется, что пускай. Все равно она не похожа на идиотку.

— Рассказывай, Женя.

— Подожди. Нам надо договориться.

— О чём?

— Как мы будем друг друга называть.

— Давай договоримся. Ты будешь Женей, а я Евгением.

— А почему так?

— Не знаю. Просто предложил.

— Так не бывает. У всего есть внутренняя логика. Это потому что я девушка, да?

— В смысле? Как это связано?

— Евгений — строгое официальное имя.

А Женя — его уменьшительная легкомысленная форма. Я бы даже сказала — уменьшительно-ласкательная.

— Ласкательная — Женечка.

— Пусть. Все равно, ты думал только о себе.

— Это как?

— Тебе придется произносить меньше букв, а мне больше. Это несправедливо, не находишь?

— Ты издеваешься что ли?

Разбитое стекло снова посыпалось на мостовую.

— Немножко.

— А зачем?

— Не знаю. А зачем вообще люди издеваются?

— Ты скачешь с темы на тему. Давай вначале определимся с именами, потом ты расскажешь мне про мою маму, а уже после этого мы поговорим про издевательства.

— Любишь порядок, да?

— Люблю. Он помогает избежать путаницы.

— Ты не прав, но об этом позже. Что там у нас первое? Имена?

— Они, Женя.

— Значит, Женя?

— Как вариант.

— Мне кажется, мы попали в ловушку.

— Продолжай.

— Искусственно себя ограничили, понимаешь? Тебе не обязательно быть Евгением, а мне Евгенией. В мире полно имён, мы мо-

жем выбрать себе любые. Как бы тебе понравилось, если бы меня звали Диана?

Этого мне ещё не хватало. И почему приличных девушек так тянет на стриптизерские псевдонимы?

— Нет. Только не Диана.

— Почему?

— Не люблю Древнюю Грецию. Мне по душе Рим.

— То есть ты предпочитаешь Венеру?

Уже лучше. По крайней мере, с такой стриптизершей я не спал.

— Венера мне нравится. И раз уж мы обратились к Риму, зови меня Марс.

— Только не Марс.

Неужели она спала со стриптизером по имени Марс? Неприятно.

— Почему? Бог войны. Легендарная фигура.

— Шоколадка. Нуга, карамель и молочный шоколад. Нет, тебе нельзя быть батончиком.

— Вот, значит, как ты смотришь на Рим.

Хорошо. Предложи свой вариант.

— Катилина.

— Да ладно?! На Катерину похоже. К тому же он был бестолковым революционером.

— Зато он был страстным. Ты ведь тоже страстный, скажи?

Повисла пауза. Наши взгляды опять столкнулись. Давно на меня не смотрели так прямо.

— Как Везувий. Огонь и лава. Хочешь проверить, Венера?

— Нет, Катилина. Блин, действительно по-дурацки звучит!

— Может, Катилину надо называть по имени?

Венера улыбнулась и тихо, как бы пробуя на вкус, произнесла:

— Луций Сергий... Серёга, если попростому.

— Венера и Серёга. Как детей назовем?

— Обсудим через девять месяцев.

— Ты слишком фривольна для богини.

— О боги, ты знаешь слово фривольно?

— Не так уж это и удивительно. Я и Катилину знал.

— Многие мальчики знают Катилину. А что ты ещё знаешь, Луций?

— Тебе откровенно или шутливо?

— Попробуй совместить.

— Я знаю, что ты обещала рассказать про мою мать. А ещё я знаю, что меня не раздражают твои ступни.

— Что? Почему мои ступни должны тебя раздражать?

— До сегодняшнего дня меня раздражали все ступни в мире. Поэтому то, что меня не раздражают твои ступни, — великое достижение.

— Хочешь сказать, ты к ним равнодушен?

Голос Венеры оброс глубиной и серьёзностью.

— Нет. Они мне нравятся. Глядя на них, я даже не уверен, ходишь ли ты по земле.

— Ты странный, Луций.

— Думаешь?

— Уверена. Я тоже странная.

— Чем же?

— Например, мне очень нравится, что тебе нравятся мои ступни. А ещё я не люблю человеческие уши.

— Уши?

Я окинул Венеру взглядом.

— Поэтому ты закрываешь их волосами?

— Да.

— Покажи. Нет, правда. Мне кажется, твои уши вряд ли уступают твоим ступням.

— Ох ты! Это самый чудной комплимент, который я слышала. Спасибо.

Я протянул руку к Венере, чтобы отвести прядь. Она обхватила моё запястье прозрачными пальцами. Маленькая, сухая, сильная ладонь. Приятно.

— Не надо. Сначала ты.

— Что — я?

— Сними кеды. Хочу увидеть твои ступни.

— Прямо здесь снять? С носочками?

Мой голос сочился иронией, хотя внутренне я уже снимал чертовы кеды.

— Да. С носочками. Бартер, понимаешь? Ты показываешь ступни, я — уши. Идёт?

— А ты реально странная. Хорошо.

Я нырнул под столик и быстро стащил кеды и носки. Глупые грабли глянули на мир остриженными ногтями. Вот сколько живу,

столько они топора и просят, честно слово. Когда я вынырнул, Венера улыбнулась.

— Готово. Можешь смотреть.

— Я не хочу лезть под стол. Давай я сяду к тебе на диван, а ты положишь ноги мне на колени.

— С ушами ты хочешь поступить также?

— Да. Я хочу, чтобы ты посмотрел на них сверху. Если смотреть сбоку, их уродство не так заметно.

— А ты хочешь, чтобы было заметно?

— Конечно. Иначе теряется весь смысл нашего заголениа.

— То есть смысл в этом всё-таки есть?

— Согласна, словами его сложно выразить. Но ты ведь чувствуешь? Вот здесь?

Венера протянула руку через стол и прижала ладонь к моему сердцу. Подлый моторчик сразу забился часто-часто, с готовностью. Как собака хвостиком завилалла, понимаете?

— Чувствую. Иди ко мне.

Венера пересела на диван. Мягкое облако притянуло нас друг к другу. Запах вполз в ноздри. Со мной явно творилась какая-то хрень.

— Ложись, Луций.

Я лег на диван. Забросил ступни на колени девушке.

— У тебя отличные ступни, Луций.

— Правда?

— Нет. Ты не из Шира случайно?

Я быстро сел и спрятал ноги под стол.

— Хоббитом всякий обзвать может.

— Глупый. Фродо спас нас от страшной беды. Тебе нечего стыдиться.

— А я и не стыжусь. Уже не стыжусь. Показывай уши.

— Мне сразу лечь или сначала сидеть?

— Давай сидеть.

Венера поднесла руку к волосам, но я перехватил её запястье.

— Я сам. Пожалуйста.

Девушка кивнула и придвинулась вплотную. Я медленно провел кончиками пальцев по волосам. Всей ладонью погладил круглый затылок. Обнажил левое ухо.

— Господи, да ты же эльфийка!

— Не торопись с выводами. Дай я лягу.

Когда Венерина голова легла на мои колени, она легла не совсем на мои колени. Я давно не разговаривал с членом, но тут взмолился. «Пожалуйста, Билли Бой, не вставай! Не надо, Билли Бой! Ты упрешься ей прямо в щеку. Не делай этого!»

— Ну что? Как тебе моё ухо с такого ракурса?

— Оно и вправду уродливое.

Венера села. Её лицо застыло и вытянулось.

— Уродливое... Ты действительно так считаешь?

Олененка Бэмби видели? Примерно такая же фигня. Стыдно до чертиков.

— Нет. Просто я боялся, что мой член упрется тебе в щеку.

Повисла пауза.

— Знаешь, мне кажется, настал психологический момент поговорить о твоей матери.

Такого я не ожидал. Хрюкнул даже от удивления, а потом заржал. Девушка ко мне присоединилась. Бульжники и стекло посыпались на мостовую. Тут зазвонил мой телефон. На дисплее высветилось имя — «Череп».

— Я отойду на минутку, ладно?

— Конечно, Луций. На самом деле мне тоже...

После — «конечно, Луций» — я не слушал. Моим вниманием завладел Череп. Через десять минут я вернулся из туалета. Венеры за столиком уже не было. Пустой диван, понимаете? Всё вокруг перерыл — записку искал. Не нашел. Чертово облако превратилось в топь. К стриптизершам я

не пошёл. Сидел в Центральной кофейне до закрытия. И на следующий день тоже. И послепопслезавтра. И потом. Целую неделю там сидел. С утра до вечера. Как Хатико. На дверь смотрел. Вздрагивал, когда девушки входили. Ужас просто. Еле-еле кокаином с водкой отошел. Равнодушный эгоист. Ага, как же.

Два месяца прошло. На днях я снова в Центральную кофейню зашёл. Сижу, настоящий американо прихлебываю. Гессе листаю. Между прочим, спиной к входу. Потому что надоело мне собаку из себя изображать. Вдруг чувствую — Венера в носу. Её запах. «Ну, — думаю, — здравствуй, Банка! Приехали». Тут и голос подоспел:

— Привет, Луций! Я так скучала!

По-моему, я в обморок упал. Лицеист хренов. Но меня понять можно. Представьте, вот вы загадали, что щас по небу чувак на метле пролетит, а он возьми и пролети. Кому угодно крышу снесет. Вот и мне снесло. Я весь вечер Венеру за руку держал, чтоб она не исчезла. В туалет даже не ходил. Чуть не обоссался от высоких чувств. Брет Эшли и Роберт Кон, господи прости!

В тот день мы с Венерой до закрытия просидели. А потом как-то совершенно естественно уехали ко мне. Пришлось, конечно, с женой объясняться, выгонять её к родителям, шмотки собирать. Да и Венерин муж, к которому мы заехали по дороге, расписовался и подпортил настроение. Но его можно понять. И жену мою можно понять. И меня можно понять. И Венеру можно понять. Всех можно понять. Любовь, чего тут.

Денис Быков

Конь, Орёл, Сова и другие животные



забежали за угол как люди
выбросили мусор из окна
дура ты а мне теперь что будет
в свитере крестили комара
ночью темной
только бы не спать.

мальчик катит круглый мяч
пнет его догонит

за оградой в стороне
старика хоронят

мяч то прыгал то летал
как веселый бес
прыгнул раз и прыгнул два
и в кустах исчез

мальчик в грядке мяч искал
истоптал укроп
он не знал что круглый мяч
закатился в гроб

мама мальчику ко сну
сказочку читает

а его мячом в гробу
дедушка играет.

почему всегда светит свет
я его не смог доказать
я от злости порвал пакет
потому что не смог развязать
интересно стало давно
для чего мне на свете жить
я уже открыл было рот
но не смог у тебя спросить
а потом у меня была боль
я от боли долго кричал
я почти набрал уже ноль
но не смог вызвать врача
я не смог написать стихов
и еще много других вещей
почему я ем пауков
я какой-то странный вообще
а однажды спросил меня бог
почему я так много не смог
а я и ответил ему спесиво
что так вот открыто указывать на чужие
недостатки некрасиво.

девушка наташа
серенький кузнечик
я думал тебе много
а тебе поменьше
в нетопленной берлоге
я буду зимовать
ах девушка наташа
давайте танцевать
хватило и момента
как в стереотрубе
я словно изолента
приклеился к тебе
подземные дороги
небесные слои
надеюсь твои ноги
похожи на мои.

Deus Ex

тройное стекло дверцы духовки
электроподжиг конфорок кнопкой
компактный
съемный
большой
резервуар для воды
цвет серебристый
кварцевый гриль
стеклянная оптика
датчик удара
угольный фильтр
эргономичный дизайн
мощность 600 вт
встроенный триммер
эффект укладки
экран на квантовых точках
режущий блок
с двойной заточкой
установка длины
поддержка двух sim-карт
беспроводной геймпад
насадка для деликатных зон
быстрый нагрев
футляр в комплекте
профессиональный мотор
самоочистка от накипи
функция капля-стоп
3 режима подачи пара
4 насадки и пылесборник
5 шампуров в наборе
6 режимов поджаривания
7 скоростей
8 автоматических программ
трубка и турбощетка
быстрая стирка
полная защита.

сидел на веточке орел
в коричневых ботинках
и тут господь его позвал
к себе на вечеринку
орел сначала не хотел
и отказался даже

но тут господь ему сказал
там будет конь аркаша
аркаша самый лучший друг
орла товарищ верный
орел подумал и сказал
ну я приду наверно
вот пляшут куры и козлы
в разгаре вечеринка
не пляшет только наш орел
в начищенных ботинках
увидел он как кавалер
красивый конь аркаша
как распоследний негодяй
с его подругой пляшет
подруга милая сова
подарок вождеденный
орел стоял и горевал
давно в нее влюбленный
а конь не замечал орла
как тот стоит горюет
он улыбается сове
и перышки целует
орел рыдает и летит
с проклятой вечеринки
и так безвольно на ногах
болтаются ботинки
ушла последняя любовь
и дружба умерла
зачем обидел ты господь
хорошего орла.

зачем ты шла навстречу
зачем я так же шел
сейчас тебе отвечу
зачем навстречу шел
увидел я свеченье
от головы твоей
и мук преодоленье
я видел только в ней
уста открылись очи
смотрели на забор
пойдем здесь путь короче
и я тебя повел
мы шли как два начала
к слиянию двух начал

бывало ты кричала
бывало я кричал
нас ослепило светом
чудесного огня
и виделась нам в этом
какая-то фигня
и шторы колыхнулись
и на столе вино
в квартиру мы чужую
вошли через окно
зажглись красиво свечи
и ты как день ясна
и лег ко мне на плечи
магнитофон весна
заволокуются томно
зеркала синевой
и станет тебе стремно
валандаться со мной
здесь ни к чему капризы
но взгляд твой возмущен
возьмем мы телевизор
и что-нибудь еще
но кажется засада
гремит о нас рожок
уже у двери гады
попались мы дружок
сейчас ужасный голос
ни с места закричит
наручниками мусор
нас вскоре обручит
вдвоем намного легче
тяжелый рок нести
уста мои прошепчут
чуть слышное прости
ответишь мне с печалью
ты подлый идиот
но я тебя прощаю
и кажется люблю
стоял весенний вечер
жасмин душисто цвел
когда ты шла навстречу
когда я так же шел.

для кошки нет ненужного угла
и кошку сделал бог из серебра

все видят кошку взятую в квадрате
и в сторону плюют и смотрят свысока

когда проходит кошка в пиджаке
у кошки серый хвост и щеки в молоке

усы у кошки разной ширины
перчатки кошке вовсе не нужны

у кошки есть защита от собак
у кошки есть мотор и бензобак

и говорят на молодой картошке
сидят в начале осени все кошки.

кожаный мой чемоданчик
висит на бледной луне
бедный мой чемоданчик
хочет сейчас ко мне
как я тебя повесил
так пока и виси
маленький мой чемоданчик
ты мне совсем как сын
только нельзя чемоданчик
вернуться пока назад
плохо здесь чемоданчик
так теперь говорят
не бойся холодного ветра
тений и лунных дыр
побудь пока там чемоданчик
здесь нехороший мир
пусть одиноко скучно
только терпи дружок
скоро здесь станет лучше
есть же на свете бог
а если бога нету
ни здесь ни там высоко
я просто умру чемоданчик
и снимет тебя другой
положит в тебя тетрадки
и яблоко может быть
и будет он мальчик гадкий
и девочек будет бить
тобой будет бить чемоданчик
по нежным их головам

и бросит тебя в чуланчик
к крысам или клопам
сожрут твою нежную кожу
с замочком и ремешком
и я буду где-то тоже
поеденный червячком
лежать и никто не скажет
по своей ли чужой вине
а в черепа вместо глазок
дырки как на луне.

мы ходили смотреть на цыган
в пестрых платьях и шубах нарядных
вдруг один заметил меня
и внезапно тихо заплакал
я его к себе подозвал
говорю отчего ты горюешь
он сказал одиноко мне тут
подобрали меня цыгане
был отец мой пустынный мавр
моя мать была молдаванка
но не видел я их никогда
одиноким живу на свете
не горюй говорю цыган
посмотри на рыб кистеперых
не похожи они на людей
и люди на них не похожи
понимаю сказал цыган
и достал часы из кармана
посмотри на эти часы
у них стерся весь циферблат
и окислилась цепь латунная
понимаю ответил я
и надвинул на брови шляпу
чтобы тень легла на глаза
в которых блестили слезы
чтоб цыган их не смог увидеть.

мне нужны твои секреты
я оставляю их на потом
апология твердой кометы

заем тебя пирогом
это будет очень невкусно
я веки свои смежил
любить тебя очень грустно
значит я заслужил
голову долго не мою
мне не до головы
веки свои закрою
ладонью как делаешь ты
помидоры в моем салате
как глаза из ада смотрящие
открываю кильку в томате
а она ненастоящая
листья опали денежно
я ходил на это смотреть
в халатик махровый бережно
меня закутала смерть
воробей на ветке наохлившись
всего моммзена прочитал
я всю жизнь был красивой сволочью
только щас об этом узнал
жизнь как черный квадратик катится
с долины на взгорья прыг
за моллюском стоит каракатица
это самый прекрасный миг.

от тебя пахло сеном
от меня резедюю
я ударил коленом
нептуна под водою
твердорукие ивы
нам шершаво махали
и зеленые нивы
у причала стояли
нам подарят оливы
из фольги полотенца
мы нарежемся пивом
и уснем как младенцы
и тогда над рекою
белый месяц взойдет
и на волчьей улыбке
я тебя прокачу

полетим мы по небу
над деревней моей
и помашем эребу
что в деревне моей
полетим над дубравой
поглядим на сосну
приземлимся у речки
я тебя сполосну
заломаю осину
на холодном ветру
и мочалом всю спину
докрасна разотру
на тебя без одежды
я давно не глядел
прокатились струйки
меж мясистых грудей
и вот я как мальчишка
в этой розе ветров
на брабантовой крышке
расписаться готов
пусть танцуют деревья
волки лисы ежи
как же помолодел я
мне платок завяжи
и сырой головою
на волнистой земле
твое имя пророю
и тебе покажу
ты посмотришь и скажешь
я готова давай
аккуратно намажешь
масло на каравай
затвердеет основа
бутерброды съедим
и на волчьей улыбке
мы домой улетим.

можешь поставить знак равенства
между мной и деревом
как дерево я стою на учете
в центре занятости
как дерево я изображаю облако.

Алексей Сальников

Три истории



История юноши, который искал свою фишку в наклеивании девушек

Жил на свете один бедный юноша, который не знал, как бы ему пооригинальнее привлечь юных дев для своих любовных утех. Нет, так-то у него с этими утехами было все в порядке, будучи активным и в меру смышленным, он ухитрялся крутить сразу несколько романов, два из которых его особенно впечатлили. Один был с женою его старшего брата, а второй с тринадцатилетней школьницей, пикантность второму роману придавало еще и то обстоятельство, что юноша этот был местным участко-

вым, а школьница шла на золотую медаль. И когда школьница его бросила, готовясь к каким-то своим экзаменам, он ушел в первый в своей жизни запой. Но дело-то вовсе не в этом. Он был вообще странный. Крутя сразу несколько романов, приобрел солнцезащитные очки, чтобы незаметно оглядывать тех девушек, которых еще не захомотал, и однажды так засмотрелся на чьи-то особо симпатичные ножки, что бодро вмаршировал в лужу по самые колени. А сколько раз он бился об столбы, светофоры, чуть не падал под машину благодаря своему вуайеризму, даже не пересчитать. Он и без фишки был достаточно привлекателен и выделялся в толпе своих сверстников, как молодой бог.

Девушки и без того на него вешались, а его лучший друг видел эротические сны с его участием. Чтобы совсем уже дорисовать сочным мазком его привлекательность, стоит сказать, что, когда он в окружении друзей ждал автобус поздним вечером, к ним подошла девятилетняя бродяжка и предложила всем минет по пятьдесят рублей, а ему за бесплатно.

Но молодой человек хотел не только укладывать в постель одним своим видом, он желал запомниться чем-нибудь оригинальным, чтобы даже спустя много лет, спустя три развода, окруженная детьми и внуками, женщина вспоминала, как красиво он к ней подкатил и какой он был неотразимый и оригинальный.

Вот способы, которыми этот молодой человек пробовал окончательно очаровать девушек.

Пытаясь казаться утонченнее, чем он был на самом деле, юноша решил цитировать классиков направо и налево, но из всей классики, которую ему советовали друзья и хорошие знакомые, он прочитал до конца только «Сто двадцать дней содома» и «Властелин колец». При виде же стихов на него накатывала непонятная тоска, ему казалось, что стихи — это неправильные тексты, потому что в книгах текст должен лежать почти сплошь по всей странице, а стихи одиноко и уныло зябли посередине листа или же робко тулились сбоку. Конечно, чтобы цитировать, не обязательно читать все произведение целиком, можно было купить книгу удачных выдержек, надерганных по XIX и XX веку. Он так и сделал, но, читая ее, бедный юноша так запутался в отрывках и писателях, годах жизни их и смерти, что не чувствовал ничего, кроме отчаяния и усталости, когда ему попадалась какая-нибудь филологиня или девушка, любящая почитать что-либо, кроме журналов. С утонченностью, кстати, у него действительно были некоторые проблемы. Например, когда племянник упомянул при нем, что в школе проходили Куликовскую битву, он сказал: «А, это наши в кустах тогда зашкерились и всех пере***рили».

Был еще один способ, для которого не требовалось каких-нибудь способностей, и юноша решил выбрать его. Незадолго до того, как этого несчастного посетила мысль запоминаться всем встречным девушкам как что-то особенное, на экраны его северной страны вышел фильм «Гладиатор». Так вот, у главного героя этого фильма была замечательная прическа — очень короткая стрижка с челкой, разделенной на двенадцать, что ли, маленьких прядей, это прическа так понравилась нашему юноше, что он перед каждым выходом на улицы своего славного городка делал себе эту прическу. Водой эти пряди было не удержать, поэтому юноша стал пользоваться специальным гелем для волос, и в итоге вышел за сигаретами поздним вечером и огреб от каких-то правильных пацанов, которые приняли его за пидораса. Но юноша не присмотрелся сразу к этому знаку свыше, не отказался от замашек стилиста. И только когда отхватил еще пару коллективных тумачков — один раз по дороге в ночной клуб, второй, когда шел поздним вечером домой с другом (их отметили обоим, поскольку друг был мелирован и одет этак пестро и весело), только когда случилось все это — он решил завязать с такими сомнительными замашками в том сомнительном районе, где он жил и работал.

Была у него еще идея совершить подвиг, благо профессия его, кажется, к этому располагала. Самое замечательное, считал он, — это поймать маньяка, но с маньяками в его районе было очень туго. В его районе, похоже, самую большую эротическую активность создавал он сам, правонарушители же больше склонялись к Бахусу и бытовухе, иногда кто-нибудь вешался или прыгал с балкона. Был, правда, один пожилой эксгибиционист, но он был настолько скучен, настолько приелся всем, что даже маленькие девочки его уже не пугались, а привлечь его можно было разве что за мелкое хулиганство. Случались, конечно, изнасилования, но все какие-то странные, то девушка проснется после трехдневной пьянки и ей сообщают, что позавчера она имела коллективное соитие со своими друзьями, то женщина приносит

соответствующее заявление на двух четырнадцатилетних подростков, а спустя неделю — показания экспертизы, и по всему выходит, что сперва она принесла заявление, и только спустя двое суток насилие имело место. В этой обстановке, полной такого нездорового юмора, у юноши так закрутилась голова, да еще фантазии о поимке маньяка на вертолетной площадке небоскреба с поножовщиной и стрельбой и спасением в последний момент. Словом, случилось так, что юноша принял заявление о потере паспорта у какого-то мужчины, даже помог ему с получением этого несчастного паспорта, а мужчина оказался в федеральном розыске, а когда хватились — его и след простыл. Три месяца минуло с того случая, прежде чем бедный юноша снова стал поглядывать на противоположный пол, ибо после того, как все выяснилось, любовные утехы с начальством заслонили от него весь белый свет.

Когда юноша оправился, или, как он сам неизящно выразился, когда «очко перестало кровоточить», он стал выбираться из своего логова не только на работу, и опять нездоровые идеи и всяческие фантазии стали намечаться в его воображении. Даже мысль о подвиге не перестала его тревожить, но она была только частью из его мыслей, он хотел еще научиться играть на гитаре, писать портрет каждой облюбованной девушки в карандаше, благо у него появилось на это время, потому что он подхватил от первой же после головомойки девушки молочницу и решил, что это что-то более масштабное и не решался пойти в КВД, чтобы слова доктора не добились окончательно. Что касемо гитары и песен, тут у него не было шансов, ибо самое большее, на что он был способен, — это великолепно подражать крику Тарзана, а слуха и голоса у него не было. С портретами дело решалось гораздо проще, он говорил, что не способен рисовать вживую, брал у девушки фотографию, а портрет рисовал один из его многочисленных друзей, но юноша был предусмотрительный, понимал, что другу это вскорости надоест, или друг заболеет, или мало ли что, например, у друга этого случались этикие

постмодернистские приливы в духе Стюи Мида, и последнюю из девушек (которых юноша по причине молочницы радовал только платоническим общением) он нарисовал в такой неприглядной обстановке, что бедный юноша провел несколько часов со стирательной резинкой, карандашом и ножницами, чтобы превратить гнусную оргию во что-то приличное.

О маньяке не могло быть и речи, теперь он грезил про спасение на водах, боях в духе «Матрицы» и бог знает о чем еще. И вот однажды поделился юноша своей бедой с каким-то бомжом, который угодил к нему в обезьянник, неизвестно, как это у него получилось разговориться, получилось — и все. И бомж ему сказал: «Вижу, юноша, не блещешь ты ни талантом, ни особым героизмом, но это ведь не всем дано, не все могут заслонить от пули и ножа, спеть арию, замедлять время и бегать по стенам и перепрыгивать с крыши на крышу. Большая часть людей не может этого, и ты тоже не можешь. Ну так не прыгай выше, от этого все твои беды. Найди что-нибудь простое, даже больше, не ищи, вот тебе совет, дай юной деве «Черника-Форте», а потом дай ей затянуться сигаретой, она будет так удивлена, как тебе и требуется, и труда от тебя это никакого не нужно. И еще — у тебя просто молочница, не Льюис, не триппер, не СПИД, это лечится парой таблеток, которые даже без рецепта можно купить. И не убивайся так, все твои беды видны с небес, и скоро они закончатся. Но только последний тебе совет — не сильно жадничай». Сказал это бомж, засиял и исчез. Юношу за то, что он не углядел за этим бомжом, перевели из участков в районный вытрезвитель.

И то правда — жизнь его стала налаживаться, в свои смены он со своими напарниками просто по-черному обирал несчастных пьянчуг и сам потом гулял, пил и веселился, как мог. От девушек у юноши совсем не стало отбоя, и «Черникой-Форте» пользовался юноша при каждом удобном случае. И так, в беспечном веселье, провел юноша несколько лет, и совсем выветрился разговор с бомжом из памяти юноши, да и что

сказать, память у него была не ахти какая, и вот привезли к ним мужчину, с которого они подняли несколько тысяч в иностранной валюте и еще поколотили его, чтобы он сильно не буюнил, а оказалось, что мужчина этот — офицер ФСБ. И мрак упал на вырезатель юноши, и каждого, кто дежурил в ту смену, постигла кара, постигла она и тех, кто не дежурил, и вообще всех, кто там работал, от уборщиц до самых высших чинов.

Теперь на этом месте только спекшийся песок и только вороны летают над ним.

История про то, как Такеши Китано оказался в Усть-Катере, и что из этого получилось

В одной далекой восточной стране жил один человек, чьи радости заключались в том, чтобы выпить пива после работы, попеть караоке и поболеть за свою бейсбольную команду. Но вот беда — не было этому человеку счастья в его любимых занятиях. Как только появлялся он в каком-нибудь месте, где можно было попеть, выпить, посмотреть бейсбол, там появлялся один знаменитый комик, а с ним его охрана, лишних людей просили удалиться, а с ними просили удалиться и бедного человека. Остальные люди, может быть, и не таили зла на комика, потому что встречали его изредка, а бедный человек встречался с ним постоянно, и постоянно его выгоняли, а комик сыпал вслед своими шуточками, и ясно как день, что зло копилось в душе бедного человека вместе с бессилием и отчаянием, тем более что, в очередной раз застав бедного человека в том же самом баре, куда вот уже скоро должен был прийти комик, охрана комика решила, что бедный человек преследует комика, и предупредила бедного человека, что если он еще раз появится поблизости — его поколотят, и буквально через неделю, совершенно в другом районе Токио (а так назывался город, где жили бедный человек и знаменитый комик), они опять пересеклись, и бедного человека поколотили, покунали головой в унитаз и выбросили на улицу.

И затаил тогда бедный человек на комика совсем уже безвылазную обиду и пошел к своей бабушке, а она у него была ведьма, так и пришел к ней с еще мокрой головой и в разодранной рубашке и распушенном галстуке, упал бабушке в ноги и стал умолять заступиться за него, и бабушка сказала: «Утри слезы, внучек, знаю я, как тебе справиться с этой бедой. Есть у меня волшебный порошок, если подсыпать его врагу в sake, то окажется он в самом мрачном месте на земле, а ты окажешься на его месте, и никто этого не заметит, это прямо как в фильме «Быть Джоном Малковичем», только еще лучше».

Ради того, чтобы подсыпать порошок куда нужно, бедный человек уволился от туда, где он работал, и пошел в официанты. Не успел он отработать и первую свою смену, как в дверях заведения, куда он устроился, появилась охрана комика. Всех попросили удалиться, а бедного человека не узнали в новой одежде, и вообще он старался не привлекать внимания, смотрел в пол, стоял в темном углу. Когда же пришел черед вести заказ комику, бедный человек подсыпал порошок, как ему было указано. И переселился в тело комика, а исчезновения его самого никто не заметил, даже управляющий на другой день его не хватился.

Одна загвоздка была во всем этом деле. Бабушка бедного человека была уже старенькая, то есть совсем уже старенькая, с провалами в памяти, поэтому зелье у нее уже получалось не такое, как раньше. Если бы внук поспешил к ней и пришел лет двадцать назад, то оказался бы знаменитый комик где-нибудь, даже страшно представить где. Но и без того были сильны удивление и ужас знаменитого комика, когда уснул он, как помнил, в своем токийском пентхаусе на двадцать пять квадратных метров, а проснулся уже на панцирной койке устькаторской общаги, окруженный похрапывающими повсюду узбеками. Только тем спасся комик, что в юности увлекался идеями всеобщего равенства и дружбы народов и, увлеченный этими идеями, успел поотирать

стены курсов узбекского языка, прежде чем его выгнали за участие в студенческой демонстрации. А так бы в чужом городе чужой страны, а тем более в Усть-Катере, ждали его не только горе, но и сама погибель.

Благодаря новым знакомым знаменитый комик сделал себе новый паспорт, права и устроился водителем маршрутного такси. Разъезжая каждый день с утра до вечера по улицам Усть-Катера, он не переставал ужасаться несходству токийского и усть-катерского пейзажей. Оглушающее отчаяние пробирало его до костей, когда, поднимаясь по проспекту Ленина в сторону вокзала, он видел апокалиптические дымы УКМК, но совсем не это досаждало ему больше всего. Больше всего он не любил, как пассажиры хлопали дверью его маршрутки. Именно через это у знаменитого комика развился нервный тик. А после того как какая-то субтильная девушка так ударила дверью, что вся повозка знаменитого комика содрогнулась, одну сторону лица его и вовсе парализовало. Его, может быть, и всего разбил бы паралич, если бы его кто-нибудь узнал и если бы он сам узнал, что бедный человек на его месте завязал с шутками и занялся кинематографом, но, к счастью, фильмы его страны не показывали в местных кинотеатрах. Те же, что доходили с Востока, он и сам вскорости не мог смотреть без легкого раздражения, и дело было не в том, что, например, боевик Джона Ву «Пуля в голову» оказался у комика в плохом качестве, на старенькой видеокассете, просто во время просмотра, как и его новые суровые северные друзья, комик половину фильма пытался сообразить, кто из героев кто, а обилие восточных лиц уже начинало сбивать его с толку. Всего пару лет прошло, а все уже принимали его не за узбека, а за татарина, такой у него был специфический выговор, среди всех его подруг не появилось ни одной восточной девушки, все были какие-то блондинки, причем вульгарные, и он сам это понимал, но поделаться с собой ничего не мог, это было, как извращение, типа тяги к транссексуалам, с тем же стыдом открытия в себе самом соответствующих

глубин, утренним просыпанием в постели с незнакомкой, за отсутствием макияжа похожей на смерть. И да, он полюбил водку, а за ней и закуски, потому что sake, рыба — это все тонко, изящно, типа акварели, типа даже пастели, а водка — это как высыпать в себя содержимое калейдоскопа, а если еще и с пивом — это как поставить вместо мозга калейдоскоп, но именно это облегчение после недельных нервов, хлопающих дверей, сумасшедших людей алкала душа комика. Самое интересное, что комику не нравилось само опьянение, не нравилась компания и разговоры и уж, конечно, не нравилось ему похмелье. Но была одна сладостная минута, ради которой и стоило пить, и стоило пить именно водку, поскольку те же sake и пиво уходили из головы и желудка как-то не так и не давали этой минуты, словом, комику нравилось проснуться утром и вылезти на улицу, это было необъяснимо, но весь город с еще не прогретым или зимним воздухом как бы сразу обступал комика и ударял в голову ощущением дома, все эти тополя, здания, построенные пленными немцами, лежащий поперек двора красноватый солнечный свет и воздух с легким привкусом глюкозы и конопляного дыма.

Именно таким зимним утром его приняли в свои объятия какие-то два наркомана и несколько раз ткнули ножом, чтобы разбогатеть на сотовый телефон и сто двадцать рублей. И это все, что случилось с комиком в Усть-Катере, и если бы не умственная слабость престарелой ведьмы — это был бы конец истории. Но по своей глупости и забывчивости престарелая ведьма приготовила не то снадобье, которое хотела, снадобье работало не вечно, а только несколько лет, и в тот момент, когда погибающего комика везли к лекарю, а сердце комика остановилось, снадобье прекратило свое действие, и комик перенесся обратно в родные края, в тело бедного человека. И они остались в одном теле, один — чтобы снимать кино, играть в бейсбол (а он в отсутствие комика завел даже свою бейсбольную команду), другой — чтобы шутить и привносить веселье в их совместное существование.

И это вся история про комика и бедного человека.

От этой истории осталось только окончание

— Скажите, сколько у вас стоят антидепрессанты? — спросил Игорь.

— Какие именно вас интересуют? — спросила женщина-лекарь.

Игорь стыдливо тыкнул пальчиком.

— Эти мы без рецепта не продаем, — сказала она.

Игорь показал на другую коробочку в витрине.

— Эти тоже, — сказала женщина-лекарь, и видно было, что суровость ее возросла и раздражение усилилось.

— Я рекомендовала бы вам что-нибудь на растительной основе, — сказала она таким голосом, чтобы Игорь понял свои обстоятельства, что без рецепта он ничего не получит, а получит только эти — на растительной основе.

— Сколько они стоят? — спросил Игорь.

Женщина-лекарь назвала цену, от которой Игорь в отчаянии заскреб стекло витрины и запричитал так громко, как мог:

— Ну почему, почему у вас такие дорогие антидепрессанты? Почему не продаете вон те без рецепта, разве не видно, что мне плохо?

Он недолго поплакал в аптеке, недолго, потому что охранник выставил его наружу, плакал, пока шел домой, и весь вечер проплакал дома.

Дома он плакал совсем уже в голос, поскольку никто не мог его выставить и потому что вино, которое выпил Игорь по возвращении, только усилило его тоску, отчаяние и мрачность. Он плакал настолько допоздна, что все соседи уже легли спать, кто-то из соседей принял его плач за собачий вой и стал предостерегающе стучать в батарею, тогда Игорь умолк, сходил за вином в круглосуточную лавку, выпил одну бутылку на обратном пути и еще две дома, а это заняло у него почти всю ночь.

Под утро он решил сжечь свою сказку, то есть сперва он, конечно, стер ее из своей счетной машины, а то, что было распечатано, ему захотелось именно сжечь. Трудно описать, до чего тяжело спалить восемьсот страниц в обычной квартире, если нет желания и нет сил куда-нибудь выходить. Вся пачка бумаги не занималась сразу, а только тлела, Игорь начал на кухне, закончил в туалете, так что весь дом его стал в дыму, а раковина на кухне, раковина в ванной, ванна, унитаз — все стало черным. Часть бумаги, которую уже не было сил жечь, Игорь, дивясь ее приятной вафельной хрусткости, положил в мусорное ведро, и как бы дух Гоголя и духи борцов с советской властью стояли у него за спиной и одобрительно глядели на все это.

Игорь вышел на балкон подышать свежим воздухом, там он стоял некоторое время, нюхая покрытые сажей руки, и вспомнил, что они пахли так в детстве после каждого субботника. Игорь полез в карман за сигаретами и нашел там мокрые лоскутья рукописи из той части бумаг, что не желали гореть в лужице унитаза. На клочке, угодившем под руку, сквозь проступавшие буквы нижних страниц (а все они были мокрые) была вот такая часть текста:

«Нука и Бом неторопливо поднимались по тропинке, под ногами их, как спички, похрустывали засохшие сосновые иголки, любопытные белые мотыльки бились о стекло их фонаря. Лес и все вокруг было покрыто пологом волшебницы-ночи, только под ногами Нука и Бома был небольшой кружок желтого света. Где-то недалеко ухал старый Филин, предупреждая проказливых мышей, что скоро вылетит на охоту, чтобы все они перестали баловаться и бежали спать по своим теплым норкам».

Игорь смял мокрую бумагу и выбросил ее наружу. Его стала поклевывать легкая досада за опрометчивое ночное сожжение. С этим чувством досады он лег спать, с этим же чувством проснулся, только теперь к чувству досады примешивалась злость на самого себя и отчаяние, что ничего уже не вернуть и до собрания литобъединения оставалось

всего два с половиной часа, а Игорю нечего было читать перед именитым гостем. Игорь сел за счетную машину, попробовал написать рассказ торопливой рукой, начал, но ему разонравилось, начал второй, но и второй ему разонравился тоже, начал третий, а время уже совсем поджимало, он поправил все три кусочка, как мог, решил выдать это за отрывки из неоконченного романа, распечатал то, что получилось, и поехал в библиотеку и морщился по дороге, потому что счетная машина повела себя неподобающе и выравнивала его кусочки по левому краю, да так и напечатала. Игорь смотрел на это уже сидя в желтой маршрутке, и досада заставляла его часто поправлять и протирать очки.

Приехал он последним из всех. Участники литобъединения уже пили чай и переглядывались, среди сидящих за столом Игорь не сразу нашел члена союза писателей, тот как-то очень хорошо сливался с обществом местных безумцев и любителей выпить, только что рубашка его была блее, чем у остальных, да пиджак поновее да почище. Он был моложе Игоря лет на восемь, что Игоря неприятно поразило. Сергей Сергеевич заглядывал в глаза члену союза писателей, и это Игоря неприятно поразило тоже.

Еще не завершив чаепития, стали читать. Первым, после того, как его представили, начал гость, Наташенька наклонилась к Игорю и хихикнула ему в ухо:

— Какой молоденький. Это у него что, бачки?

Игорь, не сразу понял вопрос, но все равно кивнул. Все слушали и запоминали для того, чтобы обсудить это где-нибудь позже, Игорь подумал, что если бы писал стихи (а гость читал стихи), то получилось бы у него может не лучше, но и не хуже бы точно. Игорь покосился на угол, где сгруппировались поэты, на их лицах была обида и непонимание, их лица как бы говорили: «Почему так, почему не нас встречают чаем и сушками, ведь наши стихи такие же». Все недоуменно морщили лбы при упоминании какого-то Рыжего, который попадался в стихах гостя довольно-таки часто.

После гостя все стали читать в порядке своей важности и авторитета, начиная по старшинству и начиная со стихов, то есть сперва читали пожилые поэты, потом пожилые поэты, считавшиеся не очень талантливыми, потом сумасшедшие пожилые поэты, потом прозаики в годах, потом поэты среднего возраста и так далее. Но это только звучит страшно, что все они читали, на самом деле литобъединение было небольшим, а явление народу некоторых текстов и некоторых персонажей из местных, кажется, скрашивало гостю ту спокойную скуку, ноту которой он успешно задал, когда начал первым. Больше всего гостя, конечно, поразили высокий худощавый Дмитрий Петрович со своим потертым кожаным портфелем, очками с толстыми линзами и рубашкой, испещренной маленькими олимпийскими кольцами и надписями «Олимпиада-80». Прикид Дмитрия Петровича шокирующе оттенялся его стихами для детей, про детей, про белочек и всякую такую некрупную шушеру, на строчках: «На бельевой веревочке сушу штанишки Сонечке», — гость заметно содрогнулся. Игорь ждал своей очереди два с половиной часа, Наташенька то и дело наклонялась к нему и что-нибудь говорила, хихикая. Игорь кивал, поглядывая на ее голубые крупные бусы в глубоком вырезе ее голубого синтетического платья, как бы наполненного округлостями и ямочками. Когда она встала, чтобы прочитать скромные стихи о любви к дочкам, и мужу, и родителям и о той благодарности к родителям, какую она испытывает каждую минуту своего существования (можно было сидеть, но она встала), чай загустел во рту Игоря, потому что платье обтягивало Наташеньку так, что Игорь со своего места мог сосчитать каждый кружавчик стрингов на ее содрогавшемся от декламации крестце.

Именно поэтому, когда Игорь начал читать сам, голос его несколько дрожал от злости и был сипл от волнения, от волнения же он позабыл сказать, что это отрывки из романов и забыл представиться, а Сергей Сергеевич ему напомнил, случилась неловкая пауза, внутри которой Игорь

Никто его не перебивал.

*Даже странно, что они вообще
говорили,*

*Не говоря уж о том, что спали
Друг с другом, цветы, драмтеатр
С Булыгиным, пиццерия, набережная,
Поглядывание на парочки возле ЗАГСа,
На лодки в пруду,
Совместные дни рождения,
День города, новый год.
ОШО, Козльо, йога, фитнес,
Культ богини, бхуджангасана,
салабхасана,*

*Сарвангасана, випарита карани,
Глядя здраво — сорокалетняя
бездетная
Анимешница из Усть-Катера — это
не умиляет,*

*Кавакуаримасен.
С другой стороны, он девятнадцать
лет*

*Пишет сказку про ежика и слоника,
Про добрую фею и злого великана,
Про говорящих зверей и говорящие
растения,*

*Про то, что дружба помогает делать
нам
Настоящие чудеса, может преодолеть
любые*

*Преграды на пути, время и расстояние
Ищемногопафосныхсущественных,
Архаизмов и заимствований
Дружба может преодолеть.
И вот они стоят перед ним, все его
звери,*

*Тоташа, Мушик, Вуфан, Колбик,
Хоха, Мурзик,
И еще штук восемьдесят персонажей,
Это половое влечение не знает преград,
Не знает ни видовых, ни каких других
Различий, это его не остановить ничем,
Ни смертной казнью, ни расстоянием,
ни временем,
Ну е* твою мать, Игорь, ну е* твою
мать.*

Все как-то сразу поняли, что это конец его текста. Игорь еще не успел отложить ли-

сточки, а в чтение уже вступал очередной литобъединенец, какой-то студент с фэн-тези про вампиров и борцов с вампирами. На фразе «Как ты можешь знать, что ты умер, если ты никогда не жил» Игорь не выдержал и вышел, наконец, покурить, через час он уже сидел у себя дома пил водку, а напротив него, тоже выпивая водку, расположился член союза писателей. Член союза писателей говорил:

— Ты поэт, поэт. Единственный поэт в этой вашей шараге. Если бы не ты, даже не знаю, зачем я сюда приехал, почитай еще, что у тебя есть.

Игорь говорил, что у него больше нет ничего, что это случайность, что это вовсе не стихи, что сказка у него была гораздо лучше, но он ее сжег, а член союза тем больше не верил ему, чем был пьянее, он считал, что Игорь кокетничает.

— Тебе надо поехать на семинар Казарина, — говорил член союза писателей.

Член союза писателей оказался историком в отпуске, поэтому прозависал он у Игоря целую неделю и все время говорил о литературе, и они все время пили. Где-то на третий день у них не стало сил пить водку, и они стали пить только пиво, сперва крепкое, переходя от него ко все более легкому и светлому. В день, когда Игорь провожал члена союза писателей на вокзал, они несли в руках по банке безалкогольной «Балтики».

— Это все такая ерунда, — говорил член союза писателей. — Мне вот это членство только затем, чтобы от милиции отмазываться, если она меня остановит, когда я выпью. Я историк на самом-то деле, если бы в союз принимали только тех, кто настоящий писатель, там бы никого не было после того, как Бажов умер, да и Бажов, если бы у него хватило бы ума, понял бы, что он никакой не писатель, и ушел бы сам. И было бы там пусто.

И он поблескивал бесчачьими глазами в сторону Игоря, за неделю непрерывного пьянства Игорь оброс щетиной, а член союза писателей остался гладким и при бачках. Перед самой посадкой в повозку член сою-

за писателей купил две бутылки «Жигулевского», позвякивая ими друг о друга, полез в салон, водитель не хотел пускать его, но тот как-то договорился. Не дожидаясь отхода, Игорь пошел домой. Он не чувствовал ничего, кроме огромного разочарования и облегчения, что гость наконец уехал, что больше не нужно куда ходить раз в неде-

лю. Он шел по проспекту Строителей, а в голове его крутились две строчки, он даже не осознавал, что они крутятся:

*Член союза писателей оказался
историком в отпуске,
Поэтому прозависал он у Игоря целую
неделю.*

Поэзия

Ян Кунтур

Аквинкумская яблоня



Ты выкрал из своего детства
бровь опалённую внезапной вспышкой
куска рубероида из разбойничьего костра
на пустыре
а еще зуб сломанный ударом гирьки
на цепочке
во время нервного срыва
а еще постоянное желание идти
в неизвестность
без остановки пока не рухнешь от бессилия
Это хорошая смерть

Твой ангельский фас
всегда противостоит твоему же
дьявольскому профилю
Ты постоянно алчешь
гордыню полной свободы
но при этом слишком мягок
от нежелания причинить кому-нибудь боль
и слишком застенчив
потребовать что-то лично для себя
Березовое стило твоего времени
увы уже притупилось
и больше не может выдавить
на застывшем до окаменения воске
твой личный код

ведь абсолютно нереально определить
точные координаты
марш-бросков твоего сознания-настроения

Ты — блуждающий по Эгеиде остров
чьи скалистые берега
выжжены бесплодны и неприступны
но именно среди его колючих кустов
Латона родит от неба
не половинных а настоящих богов
Поэтому забудь
все свои прежние влюбленности
в кариатид
ведь они мечтают только о крыше
которая молча и сухо покрывает их
Но крыша — далеко не небо
А небо — увы — дождит...

1.

Из еще не обретших
благородное постоянство патины
веток дуба
умывает лицо твоё
блуждающая дунайская свежесть
когда небо превращается
в речную рябь
и сквозняк здорового образа жизни
наполняет толщи Варошлигета
соринками любителей бега
так похожих на любопытных мальков
в береговых водорослях
или на незрелые семена клена
на подветренном асфальте аллеи

Дунайская свежесть
с отдушкой многоцветного солнечного
благополучия
тысяч пестиков и тычинок

Хотя весна сегодня
отменена свыше
по причине излишней фривольности
и политической неблагонадежности

2.

Не верится
что это ты сам сидишь
как обалдевшая от солнечного
благополучия
тысяч пестиков и тычинок
соринка на скамейке легенды

Мнится что зажмурившись
запустишь ресницами отрезвляющий
порыв дунайской свежести
который сметет эту разноцветную
песочную мандалу
эту вскружившую тебе голову фантазию
чересчур хорошую для реальности
так же как сдувает
недозревшие семена клена
с асфальта аллеи

И ты снова
окажешься в пыльном углу
чужого пенала
заброшенного ленивым учеником
подальше от глаз
на склон старой горы
цвета самородной меди

Ведь и сам ты
из этой самородной меди

Aquincum. Lapidarium

Зрячая сотней глаз
пытливая шершавость камня
Суровые строгие пояса
завязанные латинскими узлами
буквенного рационализма
Nascentes morimur

Каменные дельты грубых венер
поспешно распахнувших свои хитоны
тысячелетия назад навстречу тебе
и накидывающих их
тебе на плечи
чтобы под сладковатый хруст
только что упавшего яблока

ты смог примерить своё «эго»
к этому взломанному временем
сейфу саркофага
Honestamors turpivita potior

И блокнот твой вдруг заполняется
плоскими рельефами листьев
и геометрическими надгробными бусинами
окаменевшего древнеримского винограда
из которых ты только что выжал вино
писем с понта
Cuncta potest vetustas,
praeterquam curas attenuare meas

Прикасаясь подушечками пальцев
к коленям и бёдрам
рождённому от долота и киянки
ты воскрешаешь тёмную тисовую густоту
вечной науки любви
в которой волосы твоей любимой
открыто рифмуются с цветом твоей
рубашки

и постоянно мерещатся
в навсегда усмирённой мозаике пола
сложенной из кусочков
застывшей на неистовом солнце
смолы старой черешни
Felix, qui quod amat,
defendere fortiter audet

А складки ткани
каменного времени
всё струятся и струятся к ногам
вместе с водой
навсегда сбежавшей из каналов терм
И вот ладонь твоя чувствует
на этой бородатой маске памятника
не царапины и шрамы поспешного резца
но движения чьих-то уже неизвестных тебе
но родных для нее рук
и тот огонь слёз
прожигających жесткость кавернами
Quae venit ex tuto, minus est accepta
voluptas
Fortiter ille facit, qui miser esse potest

Ты вдруг начинаешь прорастать сквозь
руины

тоненькой папоротниковой волютой
капители
обретая известняковую зоркость орла
Юпитера
гордо выставившего с колонны
свои плодородные гениталии
на обозрение немногочисленным туристам
Omne vivium ex ovo

Аквинкумская яблоня

Невысокая сутулая аквинкумская яблоня
над зеленой пустошью
над старинным пепелищем

Ни одного яблока без червотчины

Солнечные лучи сжигают границы ее окон
где слепые черви
не завидуют увидевшим свет

Тропа по осколкам черепиц и краеугольных
камней
связывает через руины древнеримского
амфитеатра
с чем-то невыразимо бóльшим
так же как нитка в детской руке
через воздушный шар
связывает с небом

Хочу умереть улыбаясь с широко
открытыми глазами

Пусть никто не завешивает зеркал
пусть солнечные зайчики от них
блуждают по моей тени
выхватывая
самые неожиданные незначительные
детали

Не закрывайте своей черной тканью
этой дороги
из сладкой глубины яблочной плоти
в резко-контрастный мир луча и тени

Улисс у Цирцеи, или Видение торговца лошадьми

Сидишь на дне потаённой сауны
как Иона во чреве кита
нарушивший седьмую заповедь

Всё вокруг такое деревянное
что и сам себя начинаешь ощущать
Пиноккио с фамилией Бениньи
которому никогда уже
не стать мальчиком

Жизнь прекрасна принцесса!
если все твои звериные обиды
проклюнувшиеся из яиц
зависти и тщеславия
становятся каплями обезболивающей мази
на подушечках пальцев
которую втираем с воодушевлением
в прозрачное воздушное
тело смеха

How do you do мистер Блум!
и ракета салюта взмывает над темным
пляжем

И деревянное чрево кита
становится конём Улисса
Но никто не торопится вернуться на Итаку
и ткань заброшена под кровать Телемаха

Палеонтологическое

Я лечу
Лечу-у-у-у-у-у-у-у-у-у!

в бреющем полёте
над желтыми листьями
пергаментных улиц

под серыми листьями
оппадающих вечеряющих облаков

Лечу
маленьким фиолетовым птеродактилем
со светлой полоской поперек крыльев
и если я сейчас

внезапно
рухну
в какую-нибудь инертную безвоздушную
мумифицирующую среду
то будущие светила палеонтологии
по останкам моего желудка
определят что
мадьяры обитавшие в Средней Паннонии
в XXI в.
питались исключительно жареным
сельдереем
приправленным мускатным орехом
и черным перцем
и это станет для них аксиомой

Хотя я не венгр
и сельдерей не самый частый гость
на здешних столах
но для ученых мужей очень далёкого
будущего
опирающихся на отдельные чудом
сохранившиеся

письменные источники
я смогу быть
исключительно
хорошо сохранившейся особью мужского
пола
принадлежащей именно к паннонским
мадьярам
(к тому же генетический материал
у венгров и большей части славян
идентичен)

и
уже далеко не молодой
(судя по зубам)
с проблемами в поясничном и грудном
отделах позвоночника
а также в некоторых суставах
в желчном пузыре и вероятно в сердце

Но сейчас
я лечу-у-у-у-у-у-у-у-у-у!
и мне хорошо в этом бреющем осеннем
полете
переваривать жареный сельдерей
приправленный мускатным орехом черным
перцем
а также порцией кофе

Они тогда успели только
обрести уверенность
стабильность
покой
и позволили себе
впервые
отдых на Черном море
(единственный раз в жизни)

Никто даже не мог
вообразить
что случится года через два-три
когда год
станет равен десятилетию
а жизнь вообще —
затянувшимися сумерками
с обострением куриной слепоты
и падением температуры
до нулевой отметки

Мои родители были счастливыми людьми
добрыми и свободными
Их свобода была в них самих
и в их счастье
и в друг друге
и в уверенности что все будет хорошо
и в смешном танце «деревянных
человечков»
о котором я только слышал
и в слабом но сердечном голосе Бернеса
заставляющем раскрываться сердца
как бутоны проснувшиеся в оттепель
но задремавшие во время холодов до весны

*...отжени от мене
смирного и окаянного раба Твоего
уныние забвение неразумие нерадение...*

Папа мама
вы хотели передать и нам с сестрой
это настроение
и это получилось у вас
Но ваше счастье и уверенность были
преданы

расколоты лживыми ломами
пробивающими стены крепости
обещавшими свободу свободным
а на деле через живое прорубавшими
дорогу
для своей алчности и властолюбия

Они умерли
бутоны сердец увяли
ведь бутоны появившиеся в оттепель
но схваченные неожиданным холодом
уже не могут распуститься
даже если приходит наконец-то тепло
тем более если оно всё никак не приходит
и уже не придёт никогда

Летоисчисление

Колючий серый шарик
на остывающем зимнем платане
считающий года уже не по датам
а по потерям:
год ухода Николая (1998)
год ухода бабушки (2002)
год ухода отца (2008)
год ухода мамы (2011)
год ухода Евгения (2015)

И все эти годы не совпадают между собой
ни по времени
ни по насыщенности

один длиннее
другой короче

в одном по три лета и зимы
в другом по шесть

в одном зашкаливает
другой опустошен

Отныне год для него
это уже не условная
общепринятая дистанция
от января до января
но промежуток от одной боли до другой

Когда-нибудь
и сам он станет
чьим-то подобным годом
этот колючий серый шарик
на остывающем зимнем платане

Пора бы уже

Только сердце никак не соглашается с этим
Почему-то ему хочется бесконечно служить
насосом
и как египетскому рабу у примитивного
механизма
без передышки орошать засыхающие поля

Прости своего неблагодарного господина
мой невольный
верный с самого рождения
жизнерадостный предатель

Сгоревшая карта счастья
Не запомнил какая была
то ли Девятка Мечей
то ли Джокер
то ли Башня
то ли Повешенный

Сердечки загнаны в углы
сердечки катятся в лузу
где дремлет набирая потенциал для цвета
древняя яблоня

Солнечное безупречное пламя
сжигает дотла силы и время
Силы и время уходят и становятся
безупречным солнечным светом

Если когда-нибудь
что-нибудь из написанного мной за жизнь
кому-нибудь покажется забавным
и занимательным
и у кого-нибудь появится желание
установить в Будапеште памятный знак
то пусть его водрузят
на том перекрестке где я
изо дня в день раздавал бесплатные
утренние газеты
а вместе с ними раздарил
миллионы «jó reggelyt»
не думая о себе
но только о проносимых будничным ветром
лицах

Белый пепел сгоревших карт
над их головами
над их сердцами
над их мыслями
в лучах безупречного солнца
которого так не хватало в этой жизни

Антон Корвски

Луиза



Меня зовут Антон Корвски. Черт его знает, откуда такая фамилия, то ли поляки в роду были, то ли переврали чего-нибудь... Так, о чем это я? Ах, да! Меня зовут Антон Корвски и я — А-ХРЕНЕН-НЫЙ! Вот так вот. Это не я сказал, ясное дело. Это вчера Ирэне сказала, эта соска мелкая, которую из математического к нам перевели. Ну, выперли, короче говоря... за клиническое отсутствие мозга. Оно и понятно, откуда там мозги, когда она из штанов выпрыгивает! Ничего так, кстати, экземплярчик... несмотря на то, что дура полная. Ну, бабы, они вообще все дуры, чего уж там. Им бы только ржать да глаза закатывать. Нет, я не спорю! Круто, конечно,

когда ты весь такой шикарный являешься в клубешник в обнимку с Ирэной, особенно когда она нацепит свою белую мини-юбку и сапоги на шпильках. Ноги у нее — зашибись! Все пацаны просто зеленеют от зависти. Или с одной из близняшек, никак не могу научиться их различать... ой, да какая, нафиг, разница! Они все равно обе молчат, как глухонемые. А чего им разговаривать, с такими буферами? Крюгер все стебется: одолжи, говорит, одну хоть на недельку, нахрена тебе два комплекта. А тебе, говорю, нахрена? Разве что зажарить и съесть. Все ржут, а Крюгер злится, только виду не подает. Ехидно так тянет: и чегооооо на тебя так баааабы вееешаются, я не понимаааю... ты

же у нас здравствуй дееерево. Стучит кулаком сначала по парте, а потом по лбу. Стучи, стучи, дятел...

А чего бы им не вешаться? Можно подумать, кому-то нужны эти дурацкие оценки. Ирэна, вон, спит и видит, как бы меня к себе домой затащить, когда родители свалят в отпуск. Задолбала уже — я, видите ли, ей похож то на испанца, то на итальянца... и давай читать стихи про какую-нибудь лунную ночь и прочую лабуду с томными вздохами и многозначительными взглядами. Она так и по-испански может, и по-английски, ей бы только покрасоваться. У нас же припонтонванный колледж, каких только идиоток нет. Это у матери навязчивая идея — английский язык. Она меня все детство мучила, таскала по репетиторам. Все летом отдыхают, а я, как проклятый, за учебниками сижу. Так вот! Я этот ее английский с тех самых пор ненавижу! И пусть меня зарежут — хрен я его учить буду! Вообще-то, Крюгер подавится, буратина стоеросовая... Он, небось, во сне столько книжек не видел, сколько я прочитал. У нас весь дом книжками завален — еще дедово наследство. Мне просто плевать на эту учебу. Я не ботаник какой-нибудь, чтоб за оценки надрываться!

Сижу на английском, на последней парте, и жду, пока Ирэна передаст записку. Еще пять уроков... тоска жуткая. Все бы ничего, но эта сволочь Луиза устроила словарный диктант, а теперь ходит между рядами с такой кислой рожей, как будто мы тюремные арестанты. «Носитель языка», блин... маман как об этом услышала, так прямо в уме повредила — мол, надо обязательно попасть в этот класс! И где они вообще откопали это восьмое чудо света? Вся бесцветная и лянная, глаза злющие, как у цепной собаки. Шведка она что ли? Или все-таки англичанка? Говорят, англичанки страшные, как атомная война, — тощие и костлявые, больше на лошадей похожи, чем на баб. Ну, точно, — Луиза. Вон, вырядилась, как на парад. Видать, кто-то сказал, что ей идет красный цвет. Вот дура... Ирэна говорит, у нее все шмотки дико дорогие и стильные. А толку? Тут даже пластическая хирургия не поможет.

К диктанту я, конечно, не готовился, поэтому сижу на задней парте с открытым учебником на коленях и списываю. Как только Луиза подходит слишком близко, прижимаю учебник коленом к парте и делаю вид, что думаю. Ага, сейчас! С кем другим, может, и прокатило бы, но у Луизы нюх на такие вещи, ее так просто не купишь. После второго сеанса задумчивости она моментально зависает над партой и начинает буравить меня глазами — чувствует, что тут что-то неладно. Я застываю, чтобы не уронить учебник, и слышу, как через проход от меня Ирэна роняет ручку на пол.

Луиза не оборачивается. Губы ее кричатся от отвращения, когда она произносит — Get up!

Делаю вид, что не понял. Мало ли к кому она обращается.

— Korvski! Do you hear me?! — повышает она голос.

Ненавижу, когда меня называют по фамилии! Как будто я неодоушевленный предмет какой-то! Но у Луизы это получается особенно оскорбительно — она выплевывает мою фамилию мне в лицо, как какую-то гадость. Тут-то из меня и вылетает эта фраза — «не ори на меня».

— Не ори на меня!!!

Весь класс замирает в ужасе. Луиза, конечно, ни слова не понимает, но тут и интонации хватит выше крыши. Глаза у нее становятся узкие-узкие, как щелки, правая рука сжимается в кулак, как будто она сейчас мне засветит прямо в глаз. Я инстинктивно отшатываюсь. Учебник падает на пол.

Луиза выдыхает.

Разворачивается и идет к доске.

— Get out, — бросает через плечо.

Голос бесцветный и ровный, как у машины.

— See you after classes.

Фак. Ирэна беспомощно смотрит мне вслед, когда я иду по проходу. Глаза как у жертвенной коровы. Дура! В раздражении хлопаю дверью.

— Hands out, — шипит Луиза, как только я переступаю порог кабинета. Она уже в пальто и в перчатках, видимо, собралась домой.

— Че? — отвечаю я ей как можно нахальнее, не вынимая рук из карманов и чавкая жвачкой.

— Get. Your. Hands. Out. Of. Your. Pockets, — цедит она таким тоном, как будто я имбецил. Я демонстративно вздыхаю, закатывая глаза к потолку, но руки все-таки вынимаю.

— Hold them out, — продолжает Луиза.

Я озадаченно вытягиваю руки, все еще не понимая, чего она добивается. Думает, я шпоры на руках пишу что ли?

— Palms up, — говорит она и берет со стола линейку.

— What? — переспрашиваю я ошарашенно, даже перехожу на английский от удивления.

— You've got me, — она смотрит мне прямо в глаза и издевательски прищуривается. Я хмыкаю и переворачиваю руки ладонями вверх. И тут она размахивается этой дурацкой линейкой и вытягивает меня прямо по рукам!

Ччерт, больно..! Я со свистом втягиваю воздух и опускаю голову. Даже слезы выступают на глазах. Она, видимо, только и ждет, что я расплачусь и побегу жаловаться маме и папе. Ну, я тебе не доставлю такого удовольствия, сучка белобрысая! Не на того напала!

Перевожу дыхание.

— Is that all you've got? — говорю насмешливо.

У нее прямо белеют глаза от злости.

На какое-то мгновение я чувствую себя победителем. А потом она как будто с цепи срывается.

Я кусаю губы и морщусь от каждого удара, но упрямо не сдаюсь. Когда она приходит в себя, я уже почти не чувствую рук — они такого цвета, как будто их обварили кипятком.

Меня мутит от боли. Голова кружится.

Тишина мертвая, слышно, как где-то муха бьется в стекло... я стою посреди класса, сцепив зубы, и изо всех сил стараюсь удерживать эту тишину вокруг, чтобы она не завернулась вокруг меня спиралью.

Луиза смотрит на меня не отрываясь — я не вижу этого, мои глаза приклеены к полу, который медленно встает на дыбы и расплывается длинными горизонтальными

полосами в стыках каменных плит — я просто чувствую ее взгляд.

Как будто я стою посреди площади без одежды.

Как будто с меня содрали кожу и вывернули наизнанку.

И это тянется, и тянется, и тянется... бесконечно долго, как будто время отменили специально для меня — такая китайская казнь... публичная экзекуция — высечь на площади и сослать в Сибирь... а мне казалось это смешно... Луиза вдруг издаст какой-то странный звук... и моя голова начинает путешествие вверх — туда, где нет никакой опоры — только слои мутного воздуха и пятна света в тишине — и в этой звенящей пустоте и тишине я встречаю глаза Луизы — широко раскрытые, ошалевшие.

Изумленные..?

Прозрачные, как ледяной воздух...

— Sit down, — говорит Луиза хрипло и придвигает ко мне табурет.

Видимо, испугалась, что я вырублюсь прямо тут, посреди ее кабинета. Потом она зубами стаскивает с себя свои красные перчатки — те самые, за которые ее тихо ненавидят все наши девицы — и бросает их мне на колени.

Стоит молча и смотрит.

Глаза странные. И выражение лица.

Как будто хочет что-то сказать.

Надевает шляпу, подхватывает свою сумочку и вылетает за дверь.

Целый месяц я похваляюсь этими перчатками, как боевым трофеем.

Ношу их за поясом и ухмыляюсь, когда ко мне пристают с расспросами. Правда, я никому и ни за что бы не рассказал, как я шел тогда домой в этих перчатках... потому что руки в карманы у меня засунуть не получилось.

И как я не мог потом их снять в прихожей, как плакал, пытаюсь развязать негнушимися пальцами шнурки на ботинках. Как просидел полночи в ванной, опустив руки в холодную воду... Суставы пальцев у меня изнутри черного цвета, поэтому руки я прячу.

Так и хожу — не вынимая рук из карманов. И жую жвачку.

Пацаны просто дохнут от зависти.

А ночью мне некуда спрятаться — я стою на площади под палящим солнцем, и меня колотит озноб...

Я ничего не вижу, но почему-то знаю, что у меня под ногами — ров с ледяной водой, и я боюсь пошевелиться, потому что тогда я провалюсь в него и буду тонуть, крича и захлебываясь, а кричать нельзя.

Ни в коем случае.

Потому что на меня смотрит Луиза.

Ее глаза, как линзы телескопа, она сразу везде — у меня за спиной, где-то высоко на крепостной башне и справа, прямо впереди, на расстоянии вытянутой руки.

У меня на лбу испарина, челюсти сводит от напряжения.

И тут я вдруг слышу этот странный звук — то ли резкий вдох, то ли тихий такой, еле слышный, вскрик — и мне на лоб ложится ее ладонь. Горячая-горячая, как будто у нее температура, покалывающая крошечными электрическими разрядами, от которых у меня по вискам разливается теплая волна блаженства.

Абсолютное умиротворение...

И только одно не дает мне покоя, мешает мне уплыть в это ласковое беспмятство — я мучительно жду, когда она сделает еще один шаг и обнимет меня...

Курим за спортзалом после уроков — у Фазиля фляжка с домашним вином, и через десять минут становится так легко и тепло на душе, что мне хочется петь и орать от радости. И еще — сделать что-нибудь совершенно невообразимое!

Фазиль щурится от солнца и смеется, фляжка блестит, на ней какая-то мудреная гравировка с вензелями.

— Ну, скажи уже, — говорит он, — что у тебя там за история — с Луизой?

Он подмигивает остальным и толкает меня плечом.

— Да ладно вам, подумаешь, история, — отмазываюсь я, — как будто поговорить больше не о чем!

— Ага, — встречается Крюгер, — это вам не Ирэну в кусты затащить... придумали тоже...

Все ржут, а у меня почему-то портится настроение.

— Ну, — говорю лениво, — не переживай, Крюгер, когда она мне даст, я с тобой поделюсь, так и быть, чтоб ты у нас девственником не остался!

Фазиль аж захлебывается от смеха, приходится отобрать у него фляжку, чтоб не расплескал.

Мне всегда было интересно, для чего у нас в потолках эти жуткие крюки. Скорее всего, на них висели люстры. Может, даже со свечками. А кольца в стенах — для факелов? Говорят, тут раньше была семинария. Храм взорвали еще после революции, а семинарию почему-то оставили. Потолки высокие, сводчатые. Белые стены.

Английский превращается в пытку. Мне кажется, что все смотрят только на меня, оценивают каждый мой взгляд, каждое движение. Крюгер — с издевкой, Фазиль — с любопытством, Ирэна — с обидой.

И только Луиза на меня не смотрит.

Никогда.

Не вызывает меня к доске, не спрашивает домашнее задание... как будто меня вообще не существует. Ее не интересует, списываю я или нет — хоть положи учебник прямо на парту.

Я не могу ее видеть. Вообще.

Прогуливаю, прогуливаю, прогуливаю.

Прихожу на контрольную. Сажу над чистым листом бумаги, даже ручку в руки не беру. Крюгер потеет над своим вариантом, мне отсюда слышно, как он что-то бормочет себе под нос. Вокруг только скрип ручек и шелест бумаги.

Луиза проходит мимо моей парты как привидение. Глаза — ледышки.

Но я-то знаю, какими могут быть эти глаза... ох, Луиза... посмотри на меня!

Мне хочется схватить ее за руку и развернуть к себе. Интересно, какие у нее тогда будут глаза? Считаю про себя: один баран, два барана, три барана, четыре барана... она останавливается у меня за спиной.

— Any problem? — произносит она тихо, но отчетливо.

Голос у нее дрожит от злости.

— Now you can't even write?

Смотрит на меня, как будто я какое-то мелкое насекомое, вроде таракана. Крюгер хихикает. Я вспыхиваю как спичка.

— No, ma'am... looks like I am hopeless, — развожу руками.

В этот момент я ее ненавижу.

За все — и за это унижение, и за разбитые пальцы... и за те проклятые сны, что мучают меня каждую ночь!

И это не просто слово — это ярость. Горячая и острая, как кипяток.

— Maybe you should explain me once again, — смотрю на нее в упор, с вызовом, — more clearly?

Звенит звонок.

На следующий день нам говорят, что урок отменяется. А потом, еще через два дня — что англичанка заболела и занятий больше не будет. Всем пофиг, все равно уже экзамены на носу. Иду в учебную часть и узнаю адрес. Без проблем, они думают, что мне нужен репетитор — готовиться к поступлению.

Это у черта на куличках, на самой окраине города. Где-то в районе дурацких мавзолеев, что понастроили себе местные богачи.

Бросаю велосипед у обочины и лезу через забор.

У двери дома замираю на несколько минут, собираясь с духом, а потом начинаю стучать. Звонок вывернут и висит на проводах, дверь какая-то несерьезная, хлипкая, зато вся из себя навороченная, явно из дорогого дерева, с врезанным матовым стеклом. Ну и понты... Боковым зрением вижу, как в окне колыхнулась штора. Жду некоторое время, но мне не открывают.

Стучу чуть громче.

Минут через десять открывается внутренняя дверь.

— Go home... kid, — слышу я с той стороны.

Последнее слово как пощечина. И сразу же — стук закрывающейся двери.

Я начинаю колотить в дверь ногами, стиснув зубы и прикидывая, смогу ли я высадить ее плечом, если эта скотина мне не

откроет. Тут дверь распаивается, и на меня обрушивается какой-то бешеный поток ярости. Это настолько нереально, что за секунду до столкновения, в размазанном луче света, у меня в голове успевают промелькнуть совершенно дикая мысль — об адских фуриях... с болот северной Швеции... которых никто никогда не видел... которых почему-то никто ни разу...

Я как будто слепну...

...и только белая-белая ткань, как снег... и эти злые зеленые глаза... и разлетающиеся в движении волосы...

...все переворачивается с ног на голову...

То, что всегда казалось мне недостатком — грубость черт, резкость движений — все это прямо у меня на глазах превращается во что-то другое... в то, что всегда было у меня под носом, а я этого просто не видел!

Я смотрю на него во все глаза, у меня, кажется, даже рот открыт. Мама дорогая, охренеть можно... да он же наоборот... он просто... В этот момент я осознаю, что он на меня кричит.

Я моргаю, и его голос обретает слышимость.

— Get the hell out of here!!! — орет он мне прямо в лицо и толкает меня в грудь.

Я все еще в каком-то ступоре, не знаю, как реагировать.

Он толкает меня снова и снова, почти сбивая с ног, как будто выплевывая с каждым ударом

— Fuck! Off! You! Idiot!!!

Наконец, я отступаю и падаю навзничь. А потом вскакиваю и кидаюсь на него с кулаками.

Прихожу в себя от того, что жжет лицо — точнее левая скула, почти у виска. Что-то холодное, слишком холодное, ледяное... издаю мычащий звук и непроизвольно дергаю головой. В черепной коробке как будто взрывается фейерверк. Охаю и замираю — жду, пока уляжется головокружение.

Потихоньку открываю глаза.

Слежу за тем, как он меняет компресс — кусок замороженного сырого мяса в целлофановой оболочке. Хмыкаю. Знает, что делает, так точно не будет кровоподтека.

Движения у него плавные, вкрадчивые, как у охотящейся кошки, неудивительно, что его принимают за женщину. Самое странное, что он не изображает женщину... на самом деле в нем нет ничего женского... ни в том, как он двигается, ни в поведении...

— Как тебя зовут? — спрашиваю еле слышно, когда он прикладывает кусок мяса к моему лицу. Он не реагирует.

Я начинаю шипеть, и он убирает руку, ждет, пока я немного оттаю.

Повторяю вопрос по-английски.

— Shut up, — обрывает он меня и пытается приложить компресс, но я перехватываю его руку.

Глаза его моментально становятся злыми и узкими, как щелки. Он буравит меня взглядом, как будто хочет прожечь во мне дыру, а потом криво усмехается и наклоняется к самому моему уху. Его волосы осыпаются мне на лицо и на грудь, и я непроизвольно задерживаю дыхание... он медлит, словно издеваясь... а потом произносит мне прямо в ухо — низким хриплым голосом, насмешливо растягивая гласные: Луууииизаааа... И от этого голоса, от его обжигающе горячего дыхания, от того, что он так близко, меня вдруг перемыкает. Мои руки выходят из подчинения — я запускаю пальцы в его волосы и притягиваю его к себе. От неожиданности он вскрикивает и упирается ладонями мне в грудь. Я вижу прямо перед собой его глаза — зеленые, с янтарными прожилками, с расширенными зрачками... он что-то говорит, кривится и шипит от боли, пытается вывернуться, но я уже себя не контролирую... У него такие горячие губы... горячие, горячие, горячие... и шея... и руки... А потом мне больно. Мне так больно, что кажется, больнее уже не может быть, но с каждым его движением внутри меня расцветают новые и новые цветы боли — алые, ослепительные, прожигающие меня насквозь, как будто каленым железом. Я кричу, срывая голос, бьюсь в агонии, мои крики тонут, плавятся, текут... переплавляются в стоны и вскрики... всхлипы, когда он на секунду замирает, чтобы поймать губами мои губы... Меня нет. Я — жаркое марево, кровавое месиво

из боли и тягучей сладкой темноты, вспыхивающей под полуприкрытыми веками. Я — его руки, волосы, губы и плечи, движение его бедер под моими ладонями. Наша кожа сливается и срастается, я оплетаю его руками и ногами, вжимаюсь в него всем телом... и взрываю себя изнутри.

Он исчез. Просто исчез — пустой дом, раскрытый нараспашку. Ни ответа, ни привет. Мечусь по городу, как в бреде. Спрашиваю, спрашиваю, спрашиваю. Люди удивленно пожимают плечами:

— Блондинка? Да нет, такой тут точно не было!

Потом, присмотревшись:

— Что, малец? Кинули тебя, да? Ничего, до свадьбы заживет, не переживай.

Хочется молча залепить кулаком прямо в эту сальную ухмыляющуюся физиономию. Не могу спать... Стоит только закрыть глаза, как на меня обрушивается эта ночь, совершенно невозможная, как будто вырванная из другой реальности! Может быть, мне все это приснилось? Может, я болен..? Вот приду в сентябре в колледж, а там — Луиза... Вздрагиваю от этого имени, как от ожога — нет, нет, нет..! Больно. Невыносимо больно. Как же я мог заснуть! Как же глупо я тебя упустил... Луиза.

Стою перед зеркалом, в чем мать родила. Задумчиво себя разглядываю.

Патлы отросли уже ниже плеч, черные круги под глазами и желтушный синяк на лбу... Красота! Сразу видно, что ты по уши в дерьме, дружок.

Мать была против, она видела, что со мной что-то происходит, но не могла ни к чему прикопаться — в самом деле, в нашей дыре негде учиться, а у ребенка такие способности к языкам.

Я выдержал ровно неделю, до первой пары английского... вышел из аудитории прямо посреди занятия, молча закрыл за собой дверь. Потом купил в первом попавшемся магазине бутылку водки и долго шатался по каким-то переулкам и дворам, страдая от отвращения и ненависти к самому себе. Через пару часов, когда бутылка почти опустела и я зашел отлить в какую-то

подворотню, ко мне прицепилась компания алкашей. Я уже почти ничего не соображал, и мне было абсолютно до фени, что будет дальше, поэтому мы сначала допили бутылку прямо в подворотне, а потом дружными рядами двинули за новой.

Дальше я помню все урывками. Какие-то мусорные баки, у которых меня рвет, а Витек — здоровенный детина с огромными ручищами — держит меня за шварник, чтобы не свалился, и залиvisto смеется.

— Эк тебя, сухостой, развезло!

У него неприятный резкий голос. Потом какие-то гаражи... вот где-то там, видимо, это и произошло. Помню только, что кто-то из них сказал, что неплохо было бы щас сбачать в картишки, а кто-то заржал и добавил — на раздевание.

— Хрен вам, — сказал Витек, — это моя девочка.

С этими словами он схватил меня за пояс на джинсах и рванул к себе. Я не устоял на ногах, бухнулся перед ним на колени. Тут уже закатилась вся компания.

— Хорошая девочка, — сказал Витек и стал расстегивать штаны.

Помню, я вырывался, орал и звал на помощь, а они гоготали:

— Девочке не нравится, отпусти ее, Витек!

У Витька ничего не вышло, потому что меня все время тошнило, я только облевал ему все штаны. Он разозлился, вздернул меня на ноги и шваркнул об стенку гаража. Судя по всему, я сильно приложился головой, потому что в тот момент, когда он на меня навалился и стал сдирать с меня джинсы, сознание меня опять покинуло. Все, что я помню — это какие-то разрозненные осколки — звуки, отдельные слова, смазанные картинками. И боль. Много боли. Я думаю, они насильовали меня по очереди. А в промежутках — били.

Мне очень повезло, что меня нашла за этими гаражами какая-то девица, которая под утро возвращалась с пьянки. И еще больше повезло, что она не приняла меня за бомжа или алкаша. Может, потому, что сама была в ноль, я не знаю... зашла, небось, пописать в кустики, а там такая фигня... В об-

щем, она как-то сообразила, что дело плохо, и вызвала «скорую». А у меня не оказалось при себе даже сумки, не то что документов, поэтому родители так ничего и не узнали. Я когда очухался, первым делом заявил, что ничего не знаю и знать не хочу. И что маму мою нельзя волновать ни в коем случае, ну просто никак нельзя — понимаете, да? Врачиха очень даже поняла, глаза у нее были точно как у Ирэны в день рождения...

В универ я так и не вернулся. Только позвонил один раз старосте и сказал, что я лежу в больнице и что на меня напали грабители. Конечно, рано или поздно меня хватятся, но есть шанс, что это случится не раньше сессии. За это время мне нужно исчезнуть.

Город большой, человек в нем — как иголка в стоге сена. Особенно если у него нет желания, чтобы его нашли.

Бреюсь с остервенением, как будто хочу содрать с себя лицо.

Выволакиваю из-под кровати чемодан и с самого дна его выгребаю ворох ярко-красной одежды. Достая из кармашка темные очки и кладу их в сумку. В сумке много чего интересного.

Пристально смотрю на себя в зеркало, потом выуживаю из сумки маленький бежевый тюбик.

— Ничего, справлюсь, — говорю я сам себе, вслух.

Это странно, но от звука моего голоса — низкого и хриплого — мне почему-то сразу становится легче. Я начинаю насвистывать, чтобы заглушить свои мысли.

«Девочке не нравится, девочка против», — бьется у меня в голове, как заевшая пластинка.

Кто ты, Луиза? Шлюха, сбежавшая от сутенера? Или просто талантливый актер, спрятавшийся от кого-то в нашем богом забытом городке? Я никогда этого не узнаю. Там, за гаражами, когда меня насильовали эти озверевшие обезьяны, самым страшным для меня оказалось то, что я вдруг понял — ясно и отчетливо — я тебя никогда не найду. Никогда. Я ведь сам себе не признавался в этом. Я так рвался сюда, в этот город, по-

тому что продолжал верить, что ты можешь быть здесь, что я могу тебя здесь найти. Мне кажется, если я когда-нибудь встречу тебя — случайно, на улице — я просто тебя не узнаю. И это хорошо. Потому что я могу убить тебя.

Будь здорова, Луиза.

Подмигиваю себе в зеркало, выключаю свет и выхожу из квартиры, захлопнув за собой дверь. Каблуки моих алых туфель выбивают расстрельную очередь по бетонным плитам подъезда.

Наталья Земскова

Дневник пионерки



Действие романа охватывает период трёх десятилетий, начиная с середины шестидесятых и заканчивая началом девяностых годов XX века. События развиваются последовательно в райцентре Костромской области, Ленинграде и городе Перми бывшего Советского Союза, который показан глазами главной героини (маленькой девочки, затем — подростка, студентки и, наконец, молодого специалиста). Идея романа (для наименований глав использованы названия советских передач) — нарисовать портрет СССР и показать историю взросления души.

Автор

Вместо предисловия

— Ты должна рассказать про советские времена, — говорит моя старшая дочь.

Словосочетание «советские времена» произносится с трепетом, а глаза отдают поволокой:

— Это правда, что каждый ребенок, начиная с пяти лет, мог свободно жить личной жизнью, то есть гулять во дворе в отсутствие выпученных от страха глаз мамы, мог забежать между делом домой, схватить кусок хлеба с вареньем, запить водой из остывшего чайника и снова бежать на свободу?

— Правда.
— А правда, что в кино можно было сходиться за пятнадцать копеек?

— Правда.
— А ты была пионеркой?
— Была.

— Хочу в СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА, — выдыхает дочь, и я понимаю, что портрет советских времен у нее явно неполный.

— Видишь ли, там, в Советском Союзе, ты никогда бы не смогла, скажем, слетать в Египет на весенние каникулы...

Лет пять назад она ещё не задавала таких вопросов.

— Ну, хорошо, не хочешь — не рассказывай, дай мне свой пионерский дневник.

— Ну, какой пионерский дневник...

Попытки подsunуть дочери некоторые «советские воспоминания» не устроили, прежде всего, меня, так как живописали «лицевой», столичный образ жизни с такими бытовыми чудесами, как «гастроном» и «пакет молока». В райцентре же на пятьдесят тысяч жителей, где я выросла и родилась, первый гастроном появился при Ельцине, а пакет молока (молоко разливали из гигантских бидонов и фляг) вообще возник только при Путине, я уж не говорю про апельсины и колбасу, за которыми в семидесятые совершались регулярные набеги в Москву... Или, скажем, в стандартном советском райцентре отсутствовала такая характеристика времени, как коммуналка: строительство шло только в мегаполисах. А бытие, как известно, определяет сознание, которое в кругу моих родителей почему-то отличалось склонностью к итальянскому Возрождению, Хемингуэю и патологическому пристрастию к чтению толстых журналов с последующим их обсуждением... И то сказать, чем еще заниматься интеллигенту в провинции? Без театров, троллейбусов и трамваев, без памятников архитектуры, концертных залов и гастрономов. Без радостей крупных городов, где человек гораздо быстрее остается в одиночной камере личного пространства и вынужден отвечать на собственные пыточные вопросы типа: выполнил ли ты техзадание на свою уникальную жизнь?

...А тут еще «комплекс провинциалки», обнаруженный мной при переезде из провинции в Ленинград.

В общем, села я писать этот самый «дневник пионерки», отчетливо сознавая, что жизнь в заштатном городке Советского Союза, конечно, безвозвратно утекла. Но ее еще можно реконструировать хотя бы здесь, в биографическом романе. Тем более структуру такого романа даже придумывать не нужно, достаточно изъять из памяти программу телевизионных передач, которая не менялась десятилетиями и набила хроническую оскомину. «Советский Союз глазами зарубежных гостей», «Москва и москвичи», «Международная панорама», «Сельский час», «Музыкальный киоск», внимание, главный перл! — «Больше хороших товаров». И, конечно, «Служу Советскому Союзу», «Человек и закон», «Мамина школа»... Что могу сказать? Смотрели, как миленькие. Телевидение (к которому только-только начали привыкать), насквозь идеологизированное и подцензурное, для девяноста пяти процентов населения оставалось единственным окном в мир.

Мой повторяющийся кошмарный сон, от которого просыпаюсь в холодном поту среди ночи: я возвращаюсь в городок своего советского детства на ПМЖ. В этом сне в купе стучит неизменный заспанный проводник и бросает устало:

— Ваша станция, город Шарья.

Глава первая «Мамина школа»

Почему я накануне рождения выбрала эту Шарью, мне ясно — из-за мамочки. Я выбрала маму как некую генеральную линию, а к ней прилагались Шарья и весь семейный клан, с которым я никогда не чувствовала ничего общего. Любить — любила, но вот чувства «это свои» не было никогда. Прапрадеды все — из деревни, прабабушки-прадедушки — умелые, толковые крестьяне, а я не знаю, как сажать чеснок...

Мамочкины родители, Голубевы Анна Павловна и Николай Федорович, которые мне заменили советский детский сад, переехали «в город» в 1938-м, незадолго перед рождением мамы, из пустеющей деревни Бычиха, что в десяти километрах от Шарья. Собственно, Шарья тоже была деревня, но удачно прицепленная к железнодорожной станции, и это не только не дало ей погибнуть, но даже позволило вырасти в обширный поселок, который за два года до их приезда как-то дотянулся до городского статуса. Мамочка тоже была «не своя»: хозяйство и огород не любила, не знала, как к корове подойти (корову мамы родители держали вплоть до моего рождения), беспрерывно сидела за книжками, да еще изучала «манеры», а после школы вообще заявила, что поедет поступать в институт. На семью, в анамнезе которой даже в училище никто не учился, это произвело эффект манифеста 17 октября, когда в «крепостной» России, последней в Европе абсолютной монархии, наконец-то были провозглашены гражданские права и свободы. То есть «народ» (младшие брат и сестра) ликовал, а «чета монархов» (родители), у которой отобрали власть, пребывала в сильном смятении. Это слово — ИНСТИТУТ — стало кошмаром и моего детства.

— Ты собираешься поступать в ИНСТИТУТ? — кричала мамочка, когда я в десятом лежала на диване с зачитанным томиком Конан Дойля. — Или ты хочешь быть дворником? Ты прочитала «Былое и думы»?

«Былое и думы» я прочла только сейчас. Фолиант, разумеется, входил в программу для поступающих на гуманитарные факультеты, но я тогда ничего не успевала, и мне его в Москве «на абитуре» пересказала обязательная мама! Читала днем страницы по пятьдесят, убористо конспектировала, пока я зубрила спряжения и синтаксис, а мне рассказывала на ночь... А в том постсталинском 1956-м, когда мамочка окончила школу, после долгих скандалов и прений было решено: ну, ладно, так и быть уж, Вологда, сельскохозяйственный...

Мамочка съездила в Вологду и, конечно же, поступила на какой-то там животноводческий, но к началу учебы судьба опомнилась, послала новоиспеченной студентке гнойный аппендицит в комплекте с молодым эффективным хирургом, так что, благополучно вернувшись из больницы, влюбленная в хирурга мама наотрез отказалась становиться потомственным животноводом. Нет, вы не поняли — романа не случилось. Вернее, он случился, но не с хирургом, а с медициной, до которой оставался еще целый, весьма смутный год. Как моя мама угадала свое призвание, ума не приложу. Скорее всего, оказавшись в больничных стенах, среди «своих», почувствовала странное, непривычное клокочущее чувство счастья за грудиной, где, по некоторым свидетельствам, обитает душа. Чувство это, кстати, никуда не делось, и мама до сих пор, в свои семьдесят семь, заведует кардиологическим отделением Шарьинской центральной районной больницы. И если говорить об их выпуске пятьдесят шестого, все были такие же, ненормальные. И родители тоже не подкачали. Нет, ну нормальные родители дадут детям имена: Гета, Лара (не Лариса!), Герман, Рада, Ангелина? И эта их невесть откуда взявшаяся рафинированность, которую они чувствовали и культивировали в себе, так что я на их фоне неизменно чувствовала себя крошечкой-хаврошечкой из какой-то другой сказки...

— Высоко забираешься — низко падать будешь, — крикнул дед, махнув изуродованной на фронте рукой, когда Геля, его любимая старшая дочка, настойчиво отказалась от Вологды. А бабушка от радости всплакнула: слава тебе, Господи, лишний год дома — может, и передумает. Но смутный год — пришлось устроиться на «макаронку», местную макаронную фабрику, а после смены сидеть за учебниками — пролетел, и мамочка засобиралась в Ярославль. В медицинский!

Правда, добраться до этого Ярославля оказалось проблемой: лето, все поезда проходящие, мест нет. А вместе с мамочкой перед кассой стоит еще пять человек, и все едут в мединститут. Каким-то чудом у этих

пяти обнаруживаются нужные железнодорожные связи — у всех, кроме мамочки, — конкуренты в последний момент уезжают, мамочка остается одна и в слезах покупает билет на Кострому, чтобы оттуда на перекладных добираться до Ярославля. Не зная, как утешить дочь, и забыв, что он сам ее отговаривал от этого Ярославля, мой дед Николай в сердцах произносит фразу, оказавшуюся пророческой:

— Не реви. Вот увидишь: ты поступишь, а они — нет.

Первым при поступлении в ИНСТИТУТ было сочинение; мама его написала на тройку, а конкурс — шестнадцать человек на место. То есть чтобы поступить, химию, биологию и немецкий (тогда при поступлении в медицинский сдавали иностранный) необходимо сдать на пять. Ну, ладно, биологию, а как немецкий-то после шарьинской школы! К счастью, немецкий этот был последним, после тройки по сочинению в экзаменационном листе красовались две пятерки — химия и биология, — но, как назло, мама отравилась колбасой и повторила лишь модальные глаголы. Которые, представьте, ей достались. И мамочка пошла ва-банк, без подготовки, что потрясло экзаменаторов настолько, что ей сразу поставили «пять». Дальше — финальная сцена, которую без слез в нашей семье не рассказывают. Место действия: междугородный переговорный пункт города Ярославля. Действующие лица: Геля на одном конце провода, Гелины родители — на другом.

Телефонистка:

— Шарья, алло! Соединяю, говорите.

Гелю душат слезы.

— Алло! Доченька! — кричит бабушка.

— Ну, говори, ругать не буду.

Молчание (треск в трубке).

— Отойди, мать, дай лучше я сам, — выхватывает трубку дед.

Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. И навсегда переломила эволюционный вектор этой чудесной крестьянской семьи:

— Поступила!

Быль в тему. Едет моя коллега Наташа Семенова по Европе, в Испании, кажется. В автобусе знакомится с девушкой, и выясняется: та — из Шарьи.

— О! — радуется Семенова. — Моя подруга Наташа Земскова, представьте, тоже из Шарьи. Не знаете?

— Наташу я не знаю, — отвечает девушка. — А вот Наташину маму знают все!

Когда восторги улеглись, стали думать, как учить дочку. В семье работал один отец, мамина мама растила четверых детей, скотины полон двор, какая уж тут работа... Решили: сколько-то высылать ежемесячно, ну и, конечно, яйца, масло, картошку, морковку возить, благо поезд прямой... Вот не знаю второго такого студента, который отучился исключительно в библиотеках, как мамочка. Потому что в сравнении с коровником и резиновыми сапогами по колено в грязи библиотека — это рай, счастье. А Ярославль в сравнении с Шарьей — Париж.

— Я ходила на каблучках по набережной, по этим площадям и улицам, смотрела на храмы и не могла поверить, что я — здесь, учусь! И даже могу сходить в театр.

Потрясенная возможностями большого города, мамочка с первого курса расписала свою жизнь: понедельник и четверг — абонемент в филармонию, вторник — кино, выходные — театр имени Волкова (где она пересмотрела все раз по пять), в остальные дни — встречи с интересными людьми, которыми жизнь шестидесятых буквально кишела. Помните кадры из фильма «Москва слезам не верит», где Вера Алентова и Ирина Муравьева на ступеньках кинотеатра восторженно встречают актеров, а среди них скромно прибывшего Смоктуновского?

Картинка явно списана из документальной хроники: подобными культурными десантами пестрила вся жизнь хрущевской оттепели. Несколько лет назад страна, наконец,

выбралась из сталинского кошмара, на дворе продолжительный мир, и все потянулись к культуре. К «культурке», как они говорили. Хотя «потянулись» — нет, не то слово. Бросились, окунулись, кинулись поглощать. И этой «эпидемией культуризации» были охвачены не только продвинутые студенты, а, например, молодые рабочие, служащие. И, конечно же, подмосковному Ярославлю доставалось больше других. Беру наугад любое мамочкино студенческое письмо, читаю: «Вчера были на встрече с известным поэтом Евгением Евтушенко, который три часа читал стихи. Стихи такие, что после них хочется работать над собой, хочется быть лучше... Многие мне неизвестны — нужно непременно взять и перечитать. Завтра идем на встречу с Марком Фрадкиным, а через неделю приезжает сам Григорий Чухрай!..»

Эти встречи были организованы так называемыми университетами культуры, которые в конце пятидесятых пооткрывались во всех крупных городах СССР. И обучаться в новых «университетах» желали все. Там, в удивительном Ярославле, мамочка познакомилась с живой классической музыкой, и первыми исполнителями, которых она услышала, были Эмиль Гиллельс и Давид Ойстрах.

Да нет, конечно, дело не в Гиллельсе и не в «известном поэте Евгении Евтушенко», а в том, что воздух в СССР того времени был какой-то особенный, в нем носились флюиды свободы... И то сказать — когда ещё в СССР можно было спокойно пожить-поучиться? В двадцатых и тридцатых убивали, в сороковых — война, после войны снова начали убивать... (Не оттого ли одна из первых передач «эпохи застоя» — «Мамина школа» — посвящена демографической ситуации? В передаче объясняют, как рожать и растить; непонятно, правда, кто её смотрит в три часа дня — все советские женщины детородного возраста до шести на работе.)

Конечно же, мама скучала по дому, особенно первый год; общежитие первокурсникам не давали, пришлось вместе с тремя другими девочками снять комнату. И как же часто ей снились Шарья, огород, их де-

ревянный дом! Однажды — мамочка прочулась месяца полтора — ей приснилось, что прямо сюда, вот на эту ярославскую квартиру, приехал ее папа: стоит и снимает пальто в прихожей. Сон был такой явный, что мамочка проснулась и с ужасом поняла: нет, не приехал, не приехал... Посмотрела на часы — рано, легла, закрыла глаза. И вдруг открывается дверь, входит хозяйка квартиры: «Геля, вставай, к тебе приехал папа». Как же она тогда радовалась! Еле еле дождалась конца лекций, чтобы скорей бежать к отцу. Тот, пока дочка была в институте, прошелся по магазинам, купил рыбы, зашел в какую-то столовую, попросил эту рыбу поджарить и вечером, когда девочки вернулись с занятий, накормил всех. А потом мамочка показывала ему Ярославль, институт и театр. И они вспоминали, как десять лет назад, когда моя мама и ее брат Леня были детьми, отец их возил сначала в Москву, а затем — в Ригу, хотел, чтобы дети «увидели мир и не чувствовали себя провинциалами»...

Очень скоро мамочка обнаружила себя в лучших студентах курса и с этим открытием приехала домой на очередные каникулы:

— Знаешь, Надь, — озадаченно заявила она младшей сестре, — мы не знаем себя и не понимаем, что мы — лучшие. И, значит, поступать вы с Ленькой поедете в Москву.

Конечно, она ни за что бы никогда не вернулась — осталась бы в аспирантуре, но тут судьбе и форс-мажоры вроде приступа аппендицита не понадобились, так как на сцене давным-давно присутствовал мой папа. Папа, Юра Земсков, появился в Шарье (и в маминой школе) классе в восьмом, после семи лет жизни и учебы в интернате города Магадана, и с места в карьер влюбился в эту правильную строгую девочку с косами. Он, конечно, не понимал, что влюбился — ну, не видел никого, кроме этой Гели. Когда папу в девяносто пятом хоронили, интеллектуалка Лара Решетникова рассказывала:

— В Юру сразу влюбились все — ну как же, умница, остряк, радийщик! К тому же чудно рисовал. Но он был однолюб, причем патологический.

Папа, как и положено, начал вести разговоры о свадьбе, боясь, чтобы его сокровище не отобрали, не увели в этом ужасном Ярославле, но мамочка сказала:

— После ИНСТИТУТА.

Ну, а дальше эпистолярный роман: Юра учился в Кировском политехе и при всякой возможности мчался к НЕЙ. Это было лучшее время, но... С тех пор, как история страстной любви моих родителей мне была пересказана в разных редакциях, я поняла: была, была мудрость в добровольно-принудительных браках по расчету, когда жених и невеста в лучшем случае не испытывали друг к другу никаких внятных чувств. Ибо если есть страсть, вас, скорее, заманивают. Для цели, которую принято называть высшей. Ну, скажите, как таких, как мамочка, другим способом отправить в такие места, как Шарье, в качестве ангела быстрого реагирования? А у них, этих ангелов, миссия: любить, лечить, спасать. И если б их туда не направляли, там вообще ничего бы не было, ничего...

Дом, в котором я выросла, — первый благоустроенный дом в Шарье, хрущевская пятиэтажка для врачей в Больничном городке. Открыли больницу — построили дом, в котором нам дали квартиру. Тогда квартиры только давали. Двухкомнатная! С ванной! С туалетом! И с паровым отоплением. На шестиметровой кухне уютилась маленькая печка. Топили эту печку нарезанными деревянными брусками, залежи которых обосновались в нашем дворе. В залежах тут же завелись крысы, и созерцание крысиной деловитой жизни входило в топ^{А2} забав моего дворового детства. Года через три печки выломали — провели газ, и это был социализм, конечно. Кого не заманили в Шарью любовью, как мамочку, сагитировали благоустроенными квартирами, и началось что-то вроде продолжения веселой студенческой жизни: кругом свои, врачи, а если не врачи, то педагоги либо инженеры. Это сейчас у нас принято не знать соседа напротив, а тогда весь подъезд был и стол, и дом, и родня.

В сельской Шарье существовало два гетто интеллигенции, две резервации — Больничный городок, резервация абсолютная,

изолированная темным лесом от города, и Военный городок на улице Пятидесятилетия советской власти, резервация относительная и с этим городом взаимодействующая. Из первого призыва больничного гетто — Земсковы, Федоровы, Веснины, Крыловы, Поповы, Каверины. Да, Чиненовы, непременно Чиненовы. Образы первопроходцев почему-то четко рифмовались с образами известных личностей, тиражированных в коллективное бессознательное. Вика Чиненова, гинеколог, — точная копия Марины Влади. С дочкой Чиненовых Юлькой я провела свое раннее детство, пока ее родители не повлюблились — поразвелись, и красotka Вика не умчалась с Юлькой в Гатчину, где срочно требовались врачи. Таких, как Вика, сбежавших, впрочем, были единицы. Большинство оседало в Шарье прочно и навсегда, понемногу меняя ее структуру... Попов Владимир Павлович — Кирилл Лавров, любимец женщин. Как Поповы, не имевшие к медицине никакого отношения, затесались в наш дом, понятно: Владимир Павлович был заместителем председателя райисполкома¹, остро тяготеющим к интеллигенции и «разговорам». С моим отцом они проговорили, кажется, лет десять, а когда зуд общения поутих, просто молча сидели и выпивали, изредка перебрасываясь цитатами. Жена Владимира Павловича Августа Павловна, в просторечии Гутя, к интеллигенции никаким боком не относилась, но отменно готовила и была настолько остра на язык, что ее справедливо боялся весь двор. Все, кроме меня. Проживая на одной лестничной клетке через стенку (мы в седьмой квартире, Поповы — в восьмой), мы с Гутей быстро сделались союзниками. Когда Владимир Павлович, которого Августа Павловна звала САМ, находился дома и трезвый, она была в веселом расположении духа и готовила беляши с мясом. Беляши, если кто не знает, это жареные «плюшки» из теста с домашним, тающим во рту фаршем. Если же САМ отсутствовал, то в худшем случае он находился в загуле, а в относительно плохом — у соседа Витьки Мишнова, этажом выше. Самой Гуте в который раз идти к Мишновым не хотелось, и она посылала меня:

— Сходи, моя хорошая, позови дядю Володю. А дядю Витю не зови — терпеть его не могу.

Я, четырехлетняя, отправлялась к Мишновым и простодушно докладывала:

— Дядя Володя, срочно идите домой. А дядю Витю не надо, тетя Гутя его терпеть не может...

Понятное дело, я Гутю любила за беляши и прямолинейность. А Гутя любила меня, потому что любила, и даже хотела женить на мне своего единственного сына Пашку. Пашка был много старше (на целых пять лет), не «свой», но отказаться было нельзя, и я решила: как-то рассосется. И действительно, в круг Пашкиных интересов я перестала входить очень скоро, что не мешало нашим родителям полушутя-полусерьезно заводить разговор на эту бесперспективную тему.

Вот написала: не водились в советских райцентрах коммуналки. Но это не так. Местами, конечно же, коммуналки наличествовали... Не благородные, как в Петербурге Гоголя и Достоевского, не сталинские, как в Москве и городах-миллионниках, а обычные, в деревянных домах-бараках времен заводских поселений. Да и наш больничный дом — разве не коммуналка? Родители могли ночь напролет петь под гитару у Чиненовых (Вика была замужем — вы подумайте только! — за летчиком), а мы с Юлькой спали у нас, перекусить заходили к Поповым или к Федоровым, а после всем двором отправлялись на огороды, копать картошку, или в лес, на пикник. Слово «пикник», впрочем, никто не употреблял, говорили — «зеленая». Поехали на зеленую? А, поехали. Чего и ехать — лес вокруг, который сразу нарекли «парком».

Виктор Михайлович Крылов — теперь его именем в Шарье названа улица — это вообще отдельная тема. Хирург, остряк, мегазвезда[^], внешне он вроде как ни на кого и не походил, но его энергетика была энергетикой Владимира Высоцкого, точно Высоцкий одновременно жил в двух телах — своем и Крылова. Крылов знал о Высоцком все, что выходило и не выходило — коллекционировал, но главное — сквозь тонкие стены

крыловской квартиры день и ночь раздавался хриплый голос Владимира Семеновича. Мамочка говорит: мы остались здесь из-за интеллектуала Крылова, который никогда «не жил простой бытовой жизнью и обладал невероятной силой притяжения».

Валентин Федорович Каверин, как и положено главному врачу ЦРБ, являлся точной копией сановного партийного лидера — отчего-то, правда, китайского, Мао Цзэдуна. Злые языки так и звали его за глаза — «Мао». Наш «Мао», именем которого теперь называется Шарьинская ЦРБ, как и ИНСТИТУТ, стал кошмаром моего детства: когда мы переехали в квартиру «ненавистного» Мишнова, а Мишновы — в подобие особняка, Каверины оказались под нами, и это обратилось в ежевечернее мамочкино беспокойство — не топайте, не стучите, не прыгайте!..

По идее, молодым супружеским парам, перманентно находящимся под одной крышей хрущевки, должны быть прописаны хронические междоусобные романы. Отнюдь. То есть что-то наподобие романов, наверное, случалось, но только где-то на периферии и фрагментарно-пунктирно, не влияя на жизнеустройство. Пару раз уходила от своего любвеобильного Мао Цзэдуна образцовая жена Клавдия Ильинична. Настоящая первая леди, Клавдия гордо забирала детей и уезжала «навсегда». Регулярно, до самой смерти мужа, билась с соперницами и с САМИМ Гутя Попова. И только Вика Чиненова оставила своего мужа-летчика и уехала с анестезиологом Савельевым, так и не выйдя впоследствии за него замуж.

А мамочка? Мамочке и без романов забот хватало. Очень быстро она стала заведующей, брала полторы ставки и вечно дежурила. Как истинно врачебные дети, мы с братом болели «не по-человечески». Я, например, в возрасте неполных трех лет перенесла ужасающий аппендицит, который еле-еле обнаружили. Все началось с ОРЗ, поэтому, когда меня стало тошнить, об аппендиксе никто не подумал. Решили: отравилась, пройдет. Но когда через пару дней в моих глазах появилось что-то туманное,

и я чуть не потеряла сознание, мамочка помчалась в больницу. И вот тогда величественный «Мао», талантливый хирург и диагностика, сказал:

— Если бы это была моя дочь, я сейчас бы пошел оперировать.

Когда меня хлороформировали, я орала как резаная и звала на помощь деда Михаила, своего главного защитника, папиного отца, а мамочка кричала:

— Усыпляйте ее скорей!

Каверин с Крыловым меня разрежали, и распухший от гноя аппендикс лопнул в руках у хирургов. Господи, ведь они были совсем молодые-зеленые, ну, где-то лет по двадцать семь... Мамочка рыдала, бабе Нюре стало плохо, потому что в этой семье слишком хорошо знали, что такое детская смерть. Потому что был Боря.

Боря Голубев, младший брат мамы, послевоенный ребенок, которого бабушка Нюра родила «поздно», лет в двадцать восемь. Аборты в СССР с тысяча девятьсот тридцать шестого по тысяча девятьсот пятьдесят пятый были запрещены, и после Бори она, как многие здоровые сельские женщины, сделала «стерилизацию», сходя к местной бабке, которая что-то вливала им в матку. Четверо есть — слава Богу, и больше баба Нюра не беременела. Как все советские дети, Боря гулял один лет с пяти-четырёх и однажды решил прокатиться, ухватившись за борт лесовоза, и сорвался под заднее колесо... Когда раздавленного Борю везли на скорой, он еще дышал, но мучился совсем недолго. И вот всю ночь накануне похорон моя бабушка сидела за швейной машинкой и шила ему костюмчик. Жили бедно: Боря доншивал вещи брата и сестер, ничего нового у него не было, даже в гроб положить было не в чем. Тогда ему первый раз купили и новую обувь — сандалии...

Вот это первое мое воспоминание — перебинтованная широчайшим белым поясом, я лежа ем больничный суп, и мне легко. Вокруг меня мои родные, бабушки и дедушки, и в их глазах я вижу слезы.

Страх за детей — главный страх маминной жизни. И моей. И моей тети Нади.

И двоюродной сестры Оли. И всех других по женской линии. С этим страхом я однажды ходила на модную психологическую «расстановку» по Хелленгеру, чтобы, значит, убрали, и они сразу, не зная анамнеза, достали смерть Бори. И мне стало легче, чуть-чуть...

— Как ты можешь жить рядом с моргом? — спрашивают меня редкие одноклассники, вдруг оказавшись в нашем «больничном гетто».

— Рядом с моргом? Отлично, — смеюсь я и неизменно добавляю: — Вчера вот привезли утопленника; распух, конечно, дядечка, и ноги желтые, но лицо обычного цвета.

Нельзя сказать, что, гуляя на улице, мы контролируем ввоз всех покойников, но заглянуть внутрь «скорой», которая только что прибыла со страшным грузом, — это всегда. На территории Больничного городка находятся морг, здание больницы, инфекционное отделение, овощехранилище, пруд, наш дом и кочегарка. На самом деле это «дворец», «мавзолей», «море» и «катакомбы»... Вокруг больницы можно гулять и ездить на велике — есть дорожки. И мы гуляем круглый год вместе с больными. Больница — город в городе. Возвращаясь из школы, мы заходим сюда к кому-то из мам и лишь потом идем к себе. В больнице есть чудо из чудес — большой квадратный лифт, единственный в городе образец. Если упротить бабку-лифтёршу, можно и прокатиться, предварительно закупорив тьму громоздких дверей. Но самое интересное в здании вовсе не лифт, а спрятанный в цокольном этаже аптечный склад. Если удаётся проскользнуть незамеченными через приёмный покой, мы ныряем по лестнице вниз и в тусклом подвальном пространстве находим нужную дверь. Склад состоит из бескрайних шкафов, выдвижных полок и ящиков, где прячутся несметные богатства — мириады стеклянных пузырьков с пенициллином, километры блистеров с таблетками, горы вита-

минов, склянки с настойками, залежи йода и ваты. Если ты добрался до склада, то бояться уже нечего — здесь работает Марчина мама, все богатства — её, то есть наши. Тётя Лида сидит на высоком крутящемся стуле за гигантским столом и занимается разбором препаратов, которые легко могут поставить на ноги больного, а могут и отправить на тот свет. Мы ходим вдоль стола, пытаюсь прочесть надписи на латыни, пахнущие средневековьем и волшебством. Тётя Лида достаёт склянки, взвешивает порошки на воздушных аптечных весах, нужное количество отправляет в колбу, добавляет жидкость и прячет в тёмный шкаф под замок. Иногда порошка требуется буквально пара крупинок, но и крупинки отмеряются и взвешиваются перед тем, как отправиться в цепь превращений. Наша с Марчей несбыточная мечта — оказаться запертыми в этом чудеснейшем месте и проверить все полки. Мы уверены: всё, что здесь есть, оживает после захода солнца. Главная начальница склада — ни за что не догадаетесь — дистиллированная вода, раздувающаяся от важности в большой прозрачной банке. Прожужжав всем уши о своей уникальности, вода стоит во главе стола (а не в каком-то шкафу) и больше всего на свете боится испариться. Когда она в плохом настроении, то грозит всех растворить и смыть вон из подвала. Над водой втихомолку смеются антибиотики, сделавшие революцию в медицине, и жгучий спирт, без которого никуда, но дистиллированная вода презирает и спирт (в разведённом виде стоящий во всех винных лавках), и всех остальных. Один старик тальк пытается выслушать и примирить вздорных соседей. Он-то как старожил знает, что самыми важными аптечными препаратами считаются те, что хранятся в сейфе напротив, код от сейфа держится в тайне и часто меняется. Главный праздник на складе случается по вторникам, когда происходит завоз препаратов. Все ждут чего-то необыкновенного и нового, но, как правило, привозят «челядь» — фурацилин, аспирин, парацетамол, которые никогда не задерживаются и никого не интересуют. К вита-

минам тоже всерьёз не относятся, уважают тех, кто поступает в штучном порядке и выдаётся строго под роспись. Исчезни хоть одно такое вещество — и на тебе, скандал на всю больницу, как случилось полгода назад, когда препарат из сейфа кто-то случайно переложил в шкаф. Раз в месяц жители склада устраивают бал, когда спор честволюбий прекращается и препараты выходят из своих углов в свет. Впрочем, свет — это, конечно, условно. Балы устраивают ночью, так как дневной свет разрушает почти все лекарства... Но и без балов ночная жизнь в подвале кипит. Тётя Лида сама говорила, что старается не оставаться на складе одна. Вот буквально на днях приготовила лекарство, поставила в шкаф, а наутро оно оказалось совсем в другом месте. Или вот месяц назад исчезли все только что полученные копы для забора крови: нужно отправлять в отделения, а копы — как корова языком слизнула. Нашлись потом в просроченных лекарствах, которые до этого перебирали раза три. А сколько раз бились круглые колбы внутри шкафа, заполняя пространство едким дымом и запахом, словно им легче погибнуть, чем покинуть это подземное царство...

Выдворить со страшного склада нас можно только одним способом — нагрузить глюкозой и аскорбинкой, сиропом шиповника и таблетками из черноплодки. Всё это мы рассовываем по карманам, чтобы сгрызть по дороге.

В Больничном городке я и четыре мои подруги растем, словно в оранжерее, и только поступив в ИНСТИТУТ, узнаем: знакомые мальчики нас называли «парковские девочки», что значило особенные, задавали, интеллигентки, с запросами...

В этом больнично-«дворянском» раю у нас да еще у Кавериных есть телефон. Каверин — главный врач, понятно. А нам его поставили из-за папы, который возглавляет местный радиоузел. И вот, представьте, такая роскошь в наличии, а позвонить ты никому не можешь. Чудо-телефон звонит в основном ночью, и мамочка привычно диктует дежурному врачу:

— Два кубика того, три кубика этого, нет, это отменить совсем... Кубик вот этого внутривенно... Сделали? Выхожу...

Глава вторая «Алло, мы ищем таланты!»

Выживать в таких городах, как Шарья, можно было тремя способами.

Способ А — служить. Как, например, служила (служит) людям мама. Кому, чему служить — неважно, главное — служить. Моя бабушка Антонина Васильевна Земскова, например, всю жизнь прослужила своему мужу — прожила девяносто пять лет. А баба Нюра прослужила нам.

Способ Б — пить запойно и страшно. Пьют все — молодые и старые, мужчины и женщины, соседи, родня и чужие. История романа с алкоголем в моей семье — стандартная и длинная, включая основных домашних персонажей. Потому что не пить невозможно. День сурка начинается осенью, где-то так в октябре, но если, скажем, в Петербурге дожди «креативненько смотрятся» на фоне архитектуры Воронихина, то у нас, на фоне больничного морга, двухэтажного универмага «Спутник» в центре города, убогих домов и заборов — это тоска. Вот почему у меня в школе были сложности с географией? Да среди октябрьских-ноябрьских дождей просто нельзя, невозможно было поверить, что на земле, кроме СССР, например, существуют Египет и Индия. Про Америку, которая располагалась где-то там, на Луне, я уже не говорю. А «банальная» Турция, связанная в нашем сознании с екатерининскими русско-турецкими войнами? Кто-то из советских детей думал, что их через двадцать лет примутся доставлять самолётами в эту Турцию из учебников истории... не летом... нет, в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА?

...Ну, хорошо, не пить — значит гулять, крутить романы. Покинув Шарью в возрасте восемнадцати лет и главные женские годы проведя в Ленинграде, а после — в Перми, я не могу ссылаться на собственный опыт, но слухи... Слухи свидетельствуют о том,

что в романы в таких городах, как Шарья, бросаются истово, самозабвенно, с известной рифмой «кровь-любовь», ибо за такими играми, как «карьера» и «деньги», все уезжают в столицы. И только единицы спасают свою жизнь самым невероятным и не дающим быстрых результатов способом — творчеством. Времени в нашей провинции много, его куда-то надо девать, и творчество — самые подходящие инвестиции... Все годы «развитого социализма» наша центральная районная больница пела в хоре. Пела хирургия и гинекология, травматология и инфекционное, реанимация и терапия. Песни были военно-патриотические либо просто патриотические. Как сейчас вижу: на сцене ДК железнодорожников — внушительных размеров хор; в нем мамочка с высокой прической, в длинной черной юбке и кружевной немецкой блузке с гофрированным рюшем. Так же, как мамочка, в хоре одеты все женщины: все в блузках, все пахнут «Красной Москвой», все поют, устремив взор:

*Эй-э-х, дороги, пыль да туман,
Холода-тревоги да степной бу-урьян...
Выстрел грянет — ворон кру-ужит,
Твой дружок в бурьяне неживой лежит.
Знать не можешь доли своей —
Может, крылья сложишь посреди
сте-пей...*

Это называется смотром художественной самодеятельности и повторяется ежегодно накануне Октябрьской, то есть седьмого ноября. Демонстрация, на которую обязаны выйти все предприятия, организации и учебные заведения, закончена; после нее — концерт. В зале яблоку негде упасть. Поют наши родители и в самом деле неплохо, после песни про бурьян у мамочки в глазах всегда слезы. Коллективное творчество поощряется и служит механизмом разных манипуляций (не будешь петь — лишим премии). Смотры худ. самодеятельности, преследующие меня всё пионерское детство, подразделяются на местные и Всесоюзные и в какой-то момент эволюци-

онируют до музыкальной передачи «Алло, мы ищем таланты!». «Таланты» смотрят все от мала до велика, и действительно, эта программа, которую ведёт очень естественный и какой-то «не очень советский» Александр Масляков, бьёт все рекорды популярности. Никаких хоров здесь, естественно, нет — одна эстрада, от которой так и веет чем-то забугорным и запретным...

Но были, были и по месту жительства индивидуальные творцы! Главным таким творцом по праву считался отец моей подруги Марчи Владимир Михайлович Федоров. Как-то сразу стало понятно: Федоров — художник, несмотря на то, что работает фельдшером в СЭС³. Понятия не имею, отчего этот человек, прямой потомок владимирских богомазов, не пошел ни в какое художественное училище, а выбрал медицинское. Видимо, чтобы а — обеспечить своей семье кусок хлеба, и б — встретить чудесную Лиду. Лидочка Федорова была той самой идеальной женой, которую могут дать только за очень большие заслуги. Во-первых, молчаливая красавица. Единственное, что ее портило — заметная хромота на одну ногу, которую все переставали замечать ровно через неделю ввиду невероятной доброты Лидии Петровны. Мамочке Лида Федорова, фармацевт со средним образованием, из медицинской субординации говорит «вы», «Ангелина Николаевна», а та ей — «Лида», «ты». И это несмотря на то, что мы с Марчей неразлучны, как сиамские близнецы. Во-вторых, Лида оказалась круглой сиротой и детдомовкой, к тому же из Амурской области, которая ближе к Америке, чем к Шарье.

С Амурской областью история такая. Когда в тысяча девятьсот шестьдесят втором Федоров окончил Ветлужское медицинское училище, комсомольские боссы, сидя в московских кабинетах, кликнули клич: поможем Дальнему Востоку молодыми специалистами! И Федоров в числе сорока добровольцев отправился через всю страну — помогать. Там он встретил свою Лиду — как магнитом, их притянуло друг к другу — и привез к родным, в Шарью. Огромный Лидочкин фотопортрет с ромашками тех, счастливых,

времен, изготовленный мужем, неизменно висит у них в красном углу, над диваном. На портрете дивной красоты любимая женщина, а то, что она в этом кадре абсолютно любима, понятно даже нам, малявкам, и мы, замороженные этой силой любви, не сводим глаз с чудесного портрета...

Федоров, ко всем прочим достоинствам, надо сказать, еще и отменный красавец; косит, правда, на один глаз. Но что такое косоглазие в сравнении с ростом, правильными чертами лица, статью!.. Только потом, значительно позже, я узнала, что его косоглазие — это вовсе не косоглазие, а почти полное отсутствие глаза, потерянного при удивительных, прямо-таки библейских обстоятельствах. В шестилетнем возрасте Федоров вздумал поиграть с иконой и зачем-то «выколол» глаз на лике Николая Угодника. Мальчика отругали, икону отобрали, а через неделю, когда он натягивал струну на балалайке, струна лопнула и пронзила ему зрачок... Когда мы жили в седьмой, по соседству с Поповыми, квартире, Федоровы находились под нами, и уж прыгать над Федоровыми можно было всласть. Лида с детьми — Марчей и Вовкой — размещались в маленькой, спальне, Владимир Михайлович, в майке и семейных трусах, — в «гостиной» со своими работами маркетри. Все выходные, вечера, ночи и праздники Федоров сидит за журнальным столом и рисует, чертит, вставляет из шпона невесомые крохотные детальки. У Федоровых вечно пахнет лаком, и мамочка беспокоится: «Девочки, играйте у нас!» Крылов, Веснин, Виноградов, Попов — на охоте, Земсков, Чиненов — на рыбалке, а Федоров — за столом. В углу гундосит черно-белый телевизор с его единственной программой (вторая-то появилась уже при Путине, в нулевые!), из кухни в спальню то и дело носимся мы и хромотает удобная Лида, а Владимир Михайлович знает только свое. «Японское море», «Молодость», «Гусляры», «Пряхи», «Черный лебедь», «Ленин» — Бог ты мой, ну, куда же без Ленина? Все его лучшие работы сделаны на наших глазах. Когда очередная готова, Федоров подзывает нас с Марчей и спрашивает:

— Можете сосчитать, сколько оттенков в картине?

Мы принимаемся загибать пальцы, затем, чтобы не сбиться, рисовать палочки на бумаге, тратим тетрадный лист и все равно сбиваемся со счета, ведь оттенков дерева — множество. Где автор их берет, непонятно. Шпон, даже самый простой, достать невозможно, Федоров крутится, как может, и однажды мужики с Кировской спичечной фабрики в подарок раскатывают ему целое осиновое бревно: надо? — бери... Мебель на кухню — с «русскими человечками» и невероятными елками, которая чудесно открывалась-закрывалась, — он тоже сделал в маркетри, а когда переезжали в трехкомнатную, в соседний подъезд, оставил новым жильцам. Не вырывать же, в самом деле, с мясом.

Я даже не могу назвать это хобби. Маркетри — его страсть, дело жизни. Свои работы Федоров — кстати, он автор и герба Шарьи — раздавал направо-налево, но в основном они оседали у Поповых, Мишновых и других шарьинских друзей — тире партийных начальников (и никому не приходило в голову за них платить!). Чуть позже эти картины появились у нас. Как художник Владимир Михайлович рано понял, что любой результат есть процесс, непрерывность во времени. Только она, непрерывность, даст плоды и известность. И он не прерывается, совсем. Иногда, правда, как все, запивает, ненадолго, дня на два, и тогда отправляется «на прием» к первым леди Больничного городка — жене Мао Цзэдуна и мамочке.

— Представляешь, — рассказывает Марча утром по дороге в школу, — отец вчера напился и упал в прихожей у Кавериных.

— Не может быть, — замираю я. — И?

— Поспал, потом Клаваделинична привела...

«Клаудия Ильинична» — это было не выговорить, говорили в одно слово — «Клаваделинична».

Казалось, что падение в прихожей каверинской квартиры — конец всему, но ничего, все как-то забывается-образовывается,

до очередного федоровского запоя далеко, а до «первых леди» — тем более.

Быль в тему. Встречает наша нянька, соседка баба Лиза, глубокая старая дева, мамочку с работы с вытаращенными глазами и страшным шепотом докладывает:

— Ангелина Николаевна, матушка!.. Я такое услышала, такое!.. Сидела с Вовчиком у Федоровых — Федоров, Попов, ну, и ваш — выпивали на кухне. Федоров-то, бесстыдник, и говорит: «Как хочется жене изменить! Просто страсть...» — «Поди да измени», — зевает ходок Попов. А ваш-то, молодец, стал отговаривать: «Ну, что ты, Владимир Михайлович, здесь же все сразу узнают!..»

Это к вопросу о нравах и силе провинциального общественного мнения.

Однажды, когда мы с Марчей учились классе в седьмом и были по делам с ее отцом в городе, он зачем-то, видимо из куража, потащил нас к своей коллеге Татьяне, много моложе его. Неизвестная нам Татьяна жила в общежитии, добротном трехэтажном деревянном здании возле железной дороги. Я, выросшая на печках у бабушек, в общежитиях имела самое смутное понятие, идти было немного страшновато, но оказалось — зря. Внизу сидела уютная старушка вахтер, у Татьяны было чисто, бедно и тихо, и нам сразу понравился и запах деревянного здания, и липы за окном этой странной реальности. Во всем этом визите остро чувствовалось что-то запретное, тайное, непонятное, а оттого невыразимо притягательное... Договоренности с Татьяной явно не было: несколько обалдев, она организовала чай, но говорить почти не говорила — выступал один Федоров. Текст, как я понимаю, был какой-то беккетовский, паузы — мхатовские, нам в этом шапито отводилась роль зрителей, и она была выполнена блестяще.

К финалу Федоров открыл шампанское, разлил по бокалам и бросил небрежно:

— Знакомьтесь, девочки, моя любовница.

Не знаю, что меня шокировало больше — первое в жизни шампанское или эта Татьяна, которая горячо принялась убеждать нас в обратном. Дешевле было просто не поверить (Федоров нас ни о чем не просил), что мы и сделали, никогда, ни дома, ни между собой не вспоминая о том странном случае. А на Татьяне после многолетних отношений он все же женился — Марча тогда училась курсе на втором, — у Федорова в этом браке родился еще один сын, но Владимир Михайлович нет-нет да захаживал к Лиде, считая ее кем-то вроде сестры или тетки.

Он был артист, и эта артистичность принимала порой самые одиозные формы. Закатиться к жене «Мао Дзэдуна» пьяным в стельку или зарулить к любовнице с дочкой-подростком и ее подружкой — это так, семечки. Когда мы были маленькие, Федорову в голову пришла гораздо более дикая мысль — сделаться фокусником. Обзаведясь самоучителем и изготовив реквизит из оргстекла в духовке, он сколотил программу с картами, шариками, платками, видимо, показал ее на худсовете в ДК железнодорожников, главном местном очаге культуры, и, получив одобрение, отправился по деревенским клубам. Пару раз взял и нас — запросились! — и мы были поражены бурной реакцией зрителей. Он и здесь проявил упорство: пошли «фальшивые деньги», «исчезнувшее» из кувшина молоко и разные другие чудеса, с которыми Федоров даже ездил на конкурсы. С машинкой для «печатанья» денег он мог от скуки заявиться в магазин и, сокрушаясь на кассе, что средств опять не хватает, кинуться их «печатать» прямо здесь, доводя кассиршу до обморока. Дальше этого, впрочем, не пошло, да и дело жизни требовало серьезных вложений.

Федоровские работы довольно известны, и эта известность, что называется, пришла к нему пешком — после десятилетий дарений пошли-таки серьезные заказы. А когда приехали из службы охраны президента и заказали политическую карту мира, полтора

на два с половиной метра, стало ясно: это признание. Когда пришло время интернета, художник заказал сайт, картинками заинтересовались, и даже нарисовался продюсер. Шарьинские власти организовали выставку в США, но отчего-то работы поехали одни, без создателя. Ну и что — спросите вы, — получил автор-самоучка хоть что-то за десятилетия возни с этим шпоном? Думаю, не очень много, если гонорар измерять в денежных знаках. Ни особняков, ни машин, ни особых накоплений у Владимира Михайловича нет. И — целое состояние, если учитывать все остальное.

Давно нет моего отца... Нет спасших меня Виктора Михайловича Крылова и Валентина Федоровича Каверина, нашего «Мао Цзэдуна»... Все они подтвердили страшную статистику продолжительности жизни советских мужчин, не дожив даже до пенсии. Давно нет Владимира Павловича Попова, нет Виктора Мишнова, ненавидимого Гутей. И Гути тоже нет. Несколько лет назад похоронили моего «жениха», пятидесятилетнего Пашку Попова... А художник Федоров пережил их на целую жизнь: так изменил жене, женился на Татьяне, под пенсию родил ребенка, дождался взрослеющих внуков. Почему, я вас спрашиваю? Потому что, видимо, Федоров, как и моя мама, правильно собрал из пазлов картину своей жизни. И, судя по всему, Николай Угодник простил его, а Господь Бог оценил федоровские работы.

Глава третья «Больше хороших товаров»

В этой передаче, транслируемой в самое провальное время, какие-то аккуратные технологи, напоминающие Шурика из «Кавказской пленницы», на фоне ползущих конвейеров бодро повествуют о чудесных промтоварах вроде сапог фабрики «Скорход», пылесоса «Ракета» и холодильника «ЗИЛ». О еде речи нет, еда только в Москве, а в глубокой провинции — продуктовые магазины.

В больничном гетто нет и магазинов, продукты приходится тащить из города, куда ходят один-два автобуса. Но не помню, чтобы кто-то тащил. Продукты завозились с базы, ящиками, по блату, если дело касалось рыбы, консервов и фруктов, и приносились в коробочках и пакетах, если это были деликатесы. «Блат» и «достать» — ключевые советские термины, ныне исчезнувшие из обихода; что-то достать можно только по блату, имея знакомства. Молоко и мясо все покупают у частных в близлежащих деревнях, которые до сих пор интегрированы в Шарью. За колбасой и апельсинами ездят в Москву. На магазины отводится только хлеб, но, кроме хлеба и морской капусты, в магазинах ничего и нет.

Конечно, все как-то устраивались. У всех участки по шесть соток, и кто-то из родни всегда работает в торговле. У нас, например, бабушка Антонина Васильевна, мать моего папы, работала на торгово-закупочной базе — ТЗБ. О Шарьинская ТЗБ! Сколь убого выглядело бы без тебя мое детство! Мы с братом обожаем бегать к бабушке и деду. Сын у них единственный — мой отец, мы — единственные любимые внуки, из-за которых, с точки зрения бабы Тони, ей приходится конкурировать с мамочкиными родителями. О конкуренции она не забывает, и для нас, помимо домашних яств, всегда припасены и венгерский компот, и сезонные фрукты, и коробки конфет «Рот Фронт». Подарки на день рождения, гэдэровские куклы и детская керамическая посуда — тоже, естественно, с базы. Бабушка, не любящая лишних трат и полжизни проходившая в одном пальто из темно-синего бостона, трудится на складе верхней женской одежды, самом дивном в Шарье месте. До нарядов мне, семилетней, нет никакого дела, но я обожаю бегать по гигантскому неотапливаемому складу и бросаться в объятия черных цигейковых шуб и пальто с воротниками из чернобурки. Здесь, как на чудо-дереве, растет все, и я мерю эти меха до самозабвения, пока бабушка не отыщет меня в дальнем углу и не примется ликвидировать последствия моего загула. На складе

холодно, освещение — одна лампочка, баба Тоня к вечеру устает, но никогда меня не ругает и позволяет играть с казенным имуществом. Меха вскоре мне приедутся, и я отправляюсь в соседние сферы, к бабушкиным подругам — на склады обуви и головных уборов. Главное — не попасться на глаза страшному директору Иван Ивановичу, которого я видела всего один раз, но всегда о нем слышу. «Спрошу Иван Ивановича...», «Как Иван Иванович скажет...», «Нет, этого Иван Иванович точно не разрешит...». Директор ТЗБ зовётся Иваном Ивановичем, как все фольклорные толстые, лысые советские директора, известные нам из карикатур журнала «Крокодил», но внешне он, высокий и стройный, советских директоров отрицает. Как я сейчас понимаю, этот Иван Иванович не только жил сам, но давал жить и многочисленным своим сотрудникам, которые весь день работали на холоде, были жутко материально ответственны и вечно находились под прицелом вождедеющих глаз родни. Наигравшись на складах до одури, я сажусь за новую разлинованную амбарную книгу, которую мне дают на растерзание, и делаю там некоторые «записи», после чего мы с бабушкой идем на автобус, который появляется редко, раз в час, возвращаемся домой, долго ужинаем и ложимся вместе на бабушкину перину. Оказавшись в тепле, баба Тоня начинает клевать носом, но мужественно рассказывает мне сказку, на середине которой всегда засыпает, чтобы утром снова вернуться в холодный, продуваемый всеми сквозняками склад.

База — источник не только моего счастья, но также мамино и Надино. Мамина сестра Надя, которая давным-давно живет в Москве и работает главным инженером на фабрике крашения мехов, на девяносто процентов одевается дома, в Шарье, на московские магазины у нее просто нет времени. Батники, платья «сафари», японские плащи-пальто, итальянские сапоги — это все ТЗБ, баба Тоня. Вход на базу посторонним, естественно, запрещен, но с разрешения Иван Ивановича бабушка носит наряды домой, чтобы мама и Надя могли

что-то выбрать и выглядеть. В магазинах-то выбора никакого нет, одна «прощай, молодость» — войлочные боты на толстой резине. Это и понятно: пока товар доберется до заштатной базы в Шарье, сколько директоров, товароведов и кладовщиков его перемерят и подвергнут ревизии?..

Один такой примерочный день, несмотря на то, что прошло сорок лет, я до сих пор помню. Июнь. Свежая зелень и солнце, Надя приехала из Москвы, а на ТЗБ привезли немецкие платья. Кримпленовые! Даже не знаю, как объяснить моей дочери, что такое для женщин СССР — кримпленовое импортное платье. В общем, в «Промтоварах» висят одни ситцевые халаты, а на ТЗБ появились яркие немнущиеся наряды, в которых ходят дамочки из иностранных фильмов. Добралась-таки до Шарьи. Бабушка, естественно, эти платья несет, чтобы мама с Надеждой примерили-выбрали. А мамочке с Надей — одной тридцать три, а другой двадцать восемь. И вот они, забыв обо всем, меряют эти инопланетные капиталистические платья перед допотопным бабы-Нюриным зеркалом — одно, второе, третье, десятое... Надо же выбрать!!! Мы с двоюродной сестрой сидим на полу, в партере, и во все глаза смотрим на это чудо. То, что платья — чудо, понятно всем, включая кошку, в доме стоит благоговейная тишина. Меряют, меряют — выбрать не могут, потому что взять охота всё. Наконец, добираются до последнего — голубого, «лапши» в люрексе.

— А в таком в «Кабачке 13 стульев» была пани Моника, — говорит обалдевшая Надя. И мы вспоминаем: действительно!!!

Я хочу сказать, счастье и ощущение избранности обрести в те времена было проще простого. Кримпленовое платье — это счастье из области фантастики. Но и пачка индийского чая со слоником — тоже счастье. Палка колбасы — счастье на целый месяц; колбасу едят по кусочку и берегут для гостей. А уж если ты где-то, будучи в столицах, набрел на километровую очередь за зелеными бананами (бананы в страну завозились лишь деревянно-зеленые), это было счастье втройне. И вот сейчас, производя

эту ревизию времён, могу сказать, что по поводу быта я имела две генеральные мечты — чтоб бананы продавались на каждом углу за копейки и чтобы было много разных демократичных кафе. И подумайте! — обе сбылись!..

К ужасу экономной бабы Тони кримпленовые платья — настоящее разорение! — были куплены все. Несколько лет мамочка в них вызывала всеобщую зависть, но потом гэдээровский кримплен, который всё ещё сохранял первозданный вид, вышел из моды и бесславно доживал в наших шифоньерах, пока его не раздали дальней бедной деревенской родне.

Для мамочки страшно важно, чтоб мы росли в «нормальных условиях», и поэтому в нашей квартире — югославский гарнитур, чешская люстра, натуральные ковры и разнокалиберный модный хрусталь. Я бываю у одноклассников и вижу: так живут не все — единицы. В других домах на полу ужасающие половики, деревянные табуреты и — о ужас! — железные кровати с облезлыми набалдашниками... Но главное наше богатство — книги. Книги достать сложнее всего, особенно собрания сочинений: на них подписываются, стоят ночью в очередях, ездят за ними в столицу. В Шарье книги можно обрести только одним способом — состоять в знакомстве с Эльвирой Давидовной Шалагиновой, дивной красоты дамой, директором единственного в городе крупного книжного магазина. Долгое время родители подписываются на книги и как-то получают заветные тома, но вскоре интеллигентский круг замыкается, они знакомятся с Эльвирой, и я езжу за вожденными томами к ней, без очереди получая сокровища в коленкорových переплетах. Помимо русской классики, мы становимся обладателями толстенных томов Дюма, Томаса Манна, Ремарка, Ярослава Гашека, Синклера Льюиса... Рыбакова, Войновича, Шаламова, Распутина приносит Лара Решетникова в толстых журналах; Булгаков и Андреев добираются до нас в виде еще одной приметы «развитого социализма» — советского самиздата. Самиздат, конечно же, активно циркулирует в крупных городах,

но и до райцентров что-то там долетает, зачитанное до дыр, с непропечатанными буквами и недостающими листками.

Первый читатель в нашей семье — папа. Вновь прибывшую книгу он бережно открывает и застывает с ней в углу дивана. Не выпуская ее из рук, обедает, разговаривает по телефону, передвигается по квартире, курит на балконе, спускается в гараж, возвращается обратно, ложится с ней спать. Запойное чтение, еще одна старинная провинциальная забава, несомненно, спасло не одну сотню тысяч жизней и от лютой неподвижной скуки, и, как следствие, от добровольного саморазрушения. В нашей библиотеке есть выпущенный до революции Ключевский и Пушкин тысяча девятьсот тридцать шестого года, которых отец время от времени берет в руки, чтобы поддержать и потрогать страницы. И мамочкины книги по искусству тоже есть. Поняв, что итальянское Возрождение в круг наших интересов решительно не входит, мамочка прочитывает эти книги сама, а после пересказывает нам, демонстрируя репродукции. Позже, бродя по музеям Флоренции, я обнаружила, что знаю об этих сокровищах все, как и о скифской культуре, золоте Шлимана и прочих вершинах мирового искусства. В больничном гетто чтение принимало прямо-таки патологические формы, и я, например, страшно боялась встретить на улице читающую все Ларису Дмитриевну — ведь она непременно спросит: «А ты прочитала “Белые одежды”? А “Улитку на склоне” Стругацких? А “Ягодные места”?» Лет пятьдесят знаменитая Лара, подготовившая меня к институту, ходит в наш дом к Весниным, и главное общение этих людей состоит в обсуждении последних литературных новинок.

Быль в тему. С незапамятных времен в нашей квартире, в моей комнате, висит портрет обожаемого родителями Хемингуэя. Тот самый, с трубочкой. Опять приходят одноклассники и опять спрашивают:

— Это твой дедушка?

Еще одна характеристика времени — машины, точнее, их отсутствие. Автомобили стоят баснословные деньги, к тому же за ними существует очередь, в которой нужно стоять годами, лет по семь. Первая машина, «восьмёрка», у нас появилась в восемьдесят четвертом, когда я уже стала студенткой. А пока я росла, отец ездил на трехколесном мотоцикле «Урал», который и стоил по-человечески, рублей четыреста, и не требовал никакой очереди. Мотоцикл «Урал» — самый популярный транспорт в провинции. Нас с братом одевают в сто одежек, усаживают в люльку, мама устраивается сзади — и вперед. В касках, с надувленными от ветра лицами, мы выглядим комично и стараемся скорее убраться из больничного двора. Ездим в основном на реку или к мамочкиной родне в деревню, мотоцикл заводится с десятой попытки, адски шумит и вибрирует, и я всегда испытываю страх. Вождение любой техники в советские времена считалось сугубо мужским занятием, и я даже в самых дерзновенных мечтах представить себе не могла, что когда-нибудь сяду за руль. Села в сорок два года — жаль, папа этого не видит...

Мотоциклы «Урал» проживают в сараях-гаражах, понастроенных вокруг дома, и это еще один пласт нашей жизни. Гараж — легитимный повод для главы семьи исчезнуть из дома на полдня и после вернуться, пользуясь терминологией Зощенко, «лежа». Одна беда — стоят эти гаражи в двадцати метрах от дома и прекрасно просматриваются из окон. Гараж — не только релакс для наших пап, но и уличная игровая для нас. Зимой мы сигаем с них в снег. Начиная с весны играем за гаражами в прятки. Высший пилотаж — пробежаться по их сомкнутым между собой крышам, не будучи застуканным родителями. Но дворовые игры — это, как говорят романисты, совсем другая история.

Глава четвёртая «Служу Советскому Союзу»

Этот армейский официоз десятилетиями шел в одно и то же время — в воскресенье, в десять утра. Рабочая неделя была в основном шестидневной; выспался и — смотри передачу про армию, где солдаты подтягиваются на турниках, а потом бегают кроссы. Хуже «Служу Советскому Союзу» выглядел только «Сельский час», где рассказывали про надои и покос, да пропагандистский «Ленинский университет миллионов». Как начальник телестанции, папа смотрел телевизор всегда, с утра и до вечера, контролируя, так сказать, подчиненных дистанционно. А вместе с ним одним глазом — и мы. Черно-белый «Рубин» на козлиных ножках...

Советскому Союзу служили все без исключения. Закосить от армии (словечко появилось в девяностые) — такого даже в мыслях ни у кого не водилось. Потому что родители моих родителей — то самое, военное поколение, вот оно, совсем близко, и служба у них была, все мы знаем, какая. Главный военный в нашей семье — Михаил Николаевич Земсков, дед Михаил. Я его помню крупным, малоподвижным, с одышкой сердечника, сидящим дома, на улице Черняховского. Но это в третьем акте его жизни. А в двух первых Михаилу Николаевичу феноменально повезло аж три раза: когда он женился на бабушке, Антонине Васильевне, затем когда был призван в армию летом тридцать восьмого и, наконец, когда мой отец, его сын, женился на маме, враче-кардиологе, которая продлила жизнь свекра на четверть века. Теперь модно при всяком случае упоминать про карму, так вот, мамочка — это, безусловно, «карма» Михаила Николаевича. Сначала он невестку не очень-то принял: худая, маленькая (сорок восемь килограммов!) — кого она ему родит? Да и пол в доме моет не насухо. Но когда все вокруг заговорили про врача Земскову, когда эта врач подняла его после двух инфарктов (никто из братьев и сестер Михаила Николаевича не дожил даже до шестидесяти), он не просто зауважал сноху — он

ее почитал и с готовностью выполнял все медицинские предписания, благодаря чему дотянул до семидесяти семи лет. Это даже по нашим временам очень недурно, а уж по сталинским-то...

Про свою женитьбу дед, простой деревенский парень, объяснил так: «Чего, думаю, искать невесту на танцуйках? Не-е-ет... Я — днем, при белом свете. Иду по деревне и вижу: нарядные девки гуляют, а Тоня Михайлова — все стирает, все развешивает белье. Постирала — спешит в огород. Целый день по хозяйству... К ней и отправился свататься». Сыграли свадьбу — через пару месяцев дед ушел в армию. Только этим я могу объяснить то, что он, как сотни тысяч юнцов, взятых с гражданки, не погиб в первые дни и недели войны. Дед Михаил был одним из тех немногих «стариков», кто воевал с июня сорок первого. «Двадцать второе июня ровно в четыре часа» совпало с его долгожданным дембелем, который сержант Земсков встретил в Молдавии, на границе. Буквально на третий день войны он принял бой:

— Лежу в пшеничном поле и целюсь в немца, он — в меня. Лето, солнце в глаза, ничего не понятно. Счет идет на секунды — кто выстрелит первым?

Дед выстрелил и попал. Всю войну он воевал в танке, командиром экипажа, несколько раз горел, несколько раз был ранен. Победу встретил в пражском госпитале, так как в одном из последних боев его зацепило осколком. Вернулся домой, в свою деревню, в военной форме, победитель (мужиков вокруг нет), на груди боевой ордена Красной Звезды. Сын, семилетний мальчик, долго не желал его признавать: «Папа на фотографии — уходи, дядя!»

Что делали тогда с проверенными героями войны? Правильно, отправляли служить в органы. А не пойдешь — сам поедешь на зону. Капитана Земскова назначили начальником одного из костромских ИТК, где он, видимо, что-то понял и запил по-черному. На его войне врагом был фашист, это просто и ясно, а сейчас-то что происходит? В один из запоев дед сильно буйствовал, палил из именного оружия, куда-то рвался, после

чего его отправили на губу, а затем объявили: на Колыму, начальником лагеря. Бабушка убивалась-рыдала, не хотела ехать на страшный край света, бегала умолять высшее начальство — бесполезно. Прииск Суксукан, где заключенные добывали драгоценное олово, стал надолго ее персональным кошмаром. А восьмилетний сын радовался: ух ты, через всю страну на восток, на поезде! А потом самолетом и катером. Все бы ничего: на Суксукане абсолютный сухой закон — не забалуешь, красивые сопки, природа, но школы, даже восьмилетки, никакой нет, придется Юрочке учиться в интернате. А что такое магаданский интернат? Та же тюрьма «пуговкой назад», даже сотрудники чуть не все осужденные. Про интернат мой отец ничего никогда не рассказывал — добрым словом поминал повара, дядю Сашу, который, как мог, подкармливал голодных ребят. А вот дед Михаил вспоминал:

— Приехал как-то по делам в Магадан, есть свободные два часа — дай, думаю, проведу сына. Купил пару пирожных на скорую руку, пришел в интернат. А Юра взял эти пирожные, тут же, в коридоре, разломил на тридцать кусочков, по числу учеников в классе, и себе положил в рот самый маленький. Я-то мужик неслабого десятка, а как увидел это, заревел, как баба, всю дорогу не мог успокоиться.

Суксуканская ссылка продлилась семь лет. Я после спрашивала бабушку, которая служила в лагере кассиром:

— Чем вы там занимались?

— Работали.

— А после работы?

— Работали.

— Ну, а пикники, «зеленые» у вас были?

— Не принято. Какие пикники? Дед ходил на охоту, конечно. Настреляет мне куропаток — денщик сварит суп. У всех офицеров денщики были, и у нас старичок заключенный. А летом Юра гостил на каникулах.

Когда спустя семь лет дед возвращался на Большую землю, на пристани у катера кто-то из провожающих эзков проговорил ему в спину:

— Не бойся, гражданин начальник, доедешь. Ты к нам, как людям, относился, ну и мы тебя не обидим. А то ведь, сам знаешь, некоторые, бывает, падают с катера, тонут...

Это слышал мой пятнадцатилетний папа, уезжающий вместе с родителями.

На Колыме дед и бабушка заработали огромную по тем временам сумму — сорок девять тысяч рублей, что равнялось стоимости семи автомобилей «Волга». Лет сорок деньги пролежали на книжке, а в девяностые, как все прочие вклады, сгорели. Это притом что папины родители все это время жили в скромном неблагоустроенном доме. О том, чтобы купить на отложенные деньги жилье, даже речи не заходило. Потому что деньги — на черный день, про запас и на старость.

Может, из-за этого я никогда ничего не коплю?

Дом по улице Черняховского — радость моего шарьинского детства — я все время вижу во сне. Там две печки — русская и голландка, кухня, три небольшие, отделенные тонкими перегородками комнаты. Сюда мы с родителями приходим на все выходные и праздники, и нас кормят так, как не пообедает ни в одном ресторане. Непременно пироги и домашние заготовки, непременно жаркое и вкуснейшее домашнее пиво, которое мы с братом тихонько таскаем из прохладного жбана в «дедкиной» спальне. Летом мы пасемся в выполотом до стерильности огороде, где малина соперничает с крыжовником, а земляника — с клубникой. Из огорода бежим обратно, в зал, где стоит моя этажерка с игрушками. Но самое интересное — сундуки, где хранятся дедовские галифе и шинели, бабушкины кружева и дореволюционные, доставшиеся в приданое отрезки на платье. Мы переворачиваем вверх дном весь дом, пахнущий тишиной, пирогами и репчатым луком, разглядываем бесконечные магаданские фотокарточки, а потом долго грызем семечки на печке, и мамочка, лежа на диване, благодарно вздыхает: «Мам, однодневный дом отдыха!..» В провинции принято родителям мужа (жены) говорить «мама» и «папа». Когда начинает темнеть, не спеша собираемся до-

мой, в Больничный городок. До поворота баба Тоня, благодаря которой я знаю точно, что такое великая безусловная любовь, идет с нами и долго-долго машет вслед, а мы раз десять обязательно оглядываемся...

Теперь я понимаю, что, пока Михаил Николаевич служил Советскому Союзу, Антонина Васильевна служила ему, сыну, а потом — нам. Благодаря этому сверхъестественному таланту служения (он значительно более редок, чем все остальные таланты) моя баба Тоня прожила несколько жизней. Сначала в семье мужа, которого Родина забрала на семь лет. А что такое многодетная деревенская семья? Работа с утра до ночи, а еще свекровь, три золовки... Я часто спрашивала бабушку о том времени, ожидая каких-нибудь патриархально-семейных страстей, но ничего подобного:

— Как подошло мне время рожать, посадили меня свекровь и свекор на телегу и повезли в район, — в который раз рассказывает баба Тоня. — А боль такая, что невмочь. Довезли, положили в родильное. Между схватками подхожу к окну и вижу: под дождем стоит свекровь и плачет.

— А свекор? Говорят, горяч был под пьяную руку?

— Да, горяч... Выпьет, бывало, лишнего, домохадцев выгонит всех за дверь, а меня даже пальцем не трогал: «Ты моя Тонечка, ты моя доченька!..»

После Магадана, когда дед вышел в запас и работал пожарным инспектором, в нем проснулся отец, мой прадед, и Антонина Васильевна тоже, было дело, пряталась от мужа по соседям. Но с годами дед поутих, бабушка, как более крепкая, быстро забрала в свои руки власть и выпить давала только по большим праздникам, в остальном, впрочем, мужа не ограничивая. Это была жизнь вторая. Ну, а третью бабушка прожила в семье моего брата, обожая своего правнука Никиту, которого неизменно звала Юрой. Добрая, здравая, щедрая баба Тоня пережила всех — мужа, брата и сына и, как Урсула в «Сто лет одиночества» Маркеса, дожила до праправнуков, а такого в ту пору почти совсем не бывало.

Глава пятая «Сельский час»

Деревня Надежино, где живет мамочкина родня, отличается от Шарьи так же, как Шарья — от институтского Ярославля. Надежино — допотопное законсервированное имперско-советское захолустье без дорог, магазинов и клубов, без санчасти и всякого подобия связи. Здесь даже автобусы не останавливаются, и мы выходим за два километра, в Филино или Бычихе, чтобы потом тащиться по шоссе, где несутся страшные самосвалы. Дорог в Надежино тоже нет, и если мы едем на нашем «Урале», то непременно застреваем сразу за асфальтом, на повороте, где начинается непролазная колея. Слева и справа от колеи (по ней никто не ездит — не на чем) стоят деревянные дома, дворов тридцать, колея упирается в речку, а за речкой — веселый лес среднерусской равнины с грибами и ягодами, малинником и дикими зверями. В каждом доме корова, да не одна, курицы, гуси и свиньи, которых у нас, в «городе», почти нет. Дом у маминой тетки большой, пятистенный, со всякими хозяйственными пристройками, ходами-выходами-сеновалами-террасами, подпольем и крытым двором. Лет десять этот дом — наша летняя «резиденция», и жизнь здесь у нас абсолютно растительная.

Главные достопримечательности Надежино — речка Шанга и многодетное семейство умственно отсталых, которых почему-то все зовут «гыры».

— А они говорить не умеют: «гыр» да «гыр» — вот и «гыры».

Мимо гыр, в доме которых нет даже стекол, мы проходим с опаской, но это напрасно. Незлобные и добродушные, гыры стоят со своей стороны и смотрят на нас, открыв рты. Гыры рады любому подарку, и мамочка часто передает в Надежино вещи, из которых мы выросли. Миновал гыр, путь идет под горку, к речке Шанге — узкой, извилистой, с коварными омутами и дивными песчаными пляжами. Пляжи чередуются с темными заводями и пышными зарослями осоки, где висят синие бархатные стрекозы и прячутся

белые лилии. Если в такой заводи посидеть на заре с удочкой, непременно поймешь лещей и щурят, а может, и большую щуку. В речке мы плещемся часами, а когда холодно — идем в лес, за маслятами, откуда возвращаемся голодные, как волки, и налетаем на пресняки — большие ватрушки из пресного теста с творогом и картошкой, которые Антонина Павловна, тетя Тоня, печет через день. В другой день — пряженцы, огромные вытянутые жареные лепешки из дрожжевого, «хоженого» теста, а также борщ, окрошка, овощи и молоко во всяком виде.

В доме летом спать жарко, и полати с пологом из тончайшей марли установлены на террасе и сеновале. Мы спим на сеновале, под которым фыркает и вздыхает корова, тяжело переступая с ноги на ногу. Здесь совершенно темно, стрекочут невидимые сверчки и протекает таинственная ночная жизнь, состоящая из запахов, шорохов и мерцаний. Утром, когда солнце по-хозяйски пробивается сквозь дощатые стены, шорохи исчезают, начинают петь петухи и всюю жужжать мухи — мы вскакиваем и несемся во двор, где ходят важные курицы и сверкает роса на траве. Самое любопытное, впрочем, здесь происходит в шестом часу вечера, когда с пастбища возвращается корова Марта и надрывно мычит, требуя немедленной дойки. После того как эта Марта на глазах у изумленной публики изжевала мое лучшее платье, я ее остерегаюсь, а когда она боднула хозяина, дядю Колю, ее рога стали мне сниться в кошмарных снах.

Когда Марта в хорошем настроении, тетя Тоня берет нас с собой в хлев, и мы долго смотрим, как из красных кулаков хозяйки звонко бьют об эмалированное ведро острые белые струйки. По соседству с Мартой, у которой всегда есть теленок на тонких ножках, живет огромная свинья с выводком поросят, лежащих чурбачками друг за другом и упирающихся в пухлый материнский живот. Мы и не подозреваем, что это наши будущие котлеты, и любимся дивными хрюшками.

Меня эта живность интересует ровно одну минуту, а вот двоюродная сестра Оля,

которая родилась и выросла в Москве, только за этим и едет в Надежино. Едва появившись в деревне, она начинает тормозить дядю Колю, чтобы тот взял ее с собой пасти деревенское стадо, когда подойдет его очередь, накануне этого грандиозного события не спит ночь, вскакивает чуть свет и, счастливая, отправляется вслед за коровьим хвостом. Бедного дядю Колю, всю жизнь прождавшего родных внуков, это трогает до слез, и они с женой неизменно называют Ольгу «наша московская внучка». С московской внучкой они ведут бесконечные разговоры о коровах, свиньях и лошадях, готовят и относят им в больших ведрах пойло, и к концу нашего пребывания Ольга доит Марту не хуже тети Тони...

Глядя на узловатые багровые руки нашей хозяйки, на белый платок, который всегда повязан на ее голове, на косточки, выпирающие на стопах, я впервые начинаю задумываться о мамочкином божестве — ИНСТИТУТЕ. Встает Антонина Павловна в пять утра — прибрать и выгнать скотину. Потом идет в огород, хлопчет на кухне, и только иногда, очень редко, мы застаем ее днем случайно задремавшей на диване. Водопровода в доме нет; воду носят из колодца, заливают в умывальник, под которым стоит алюминиевое ведро, которое нужно выносить. Печки топят дровами; поленицы дров красуются перед домом и во дворе, и я вижу, как быстро они тают. Тетя Тоня никогда не забывает нас побаловать и предлагает то грядку земляники, то очищенную морковку, то вдруг поспевшую черемуху. Когда приедаются все деревенские развлечения, мы забираемся на шкаф и достаем подшивку журналов «Сельская жизнь». Периодичку выписывают все: учителя — «Учительскую газету», врачи — «Медицинскую газету», пенсионеры — журнал «Крокодил», колхозники — «Сельскую жизнь» с портретом молодого веселого механизатора / крепкой задорной доярки на обложке.

Читать про сельские дела нам неинтересно, и мы вспоминаем еще об одной забаве — сходить в соседний домик, взглянуть на Бабу-Ягу, чтобы потом, не помня себя от страха,

нестись назад. Домик совсем близко, метрах в двадцати, рядом крошечный огородик, маленькие сени и крыльцо. Чтобы войти, нужно нагнуться. Нагнулся — и ты в крошечной комнате, из которой смотрят на мир два оконца. Баба-Яга самая настоящая — маленькая, согбенная, с бельмом на глазу — всегда сидит под образами. В день приезда мамочка обязательно ведет нас к ней и громко называет наши имена, но та, похоже, ничего не слышит, только кивает. Бабу-Ягу зовут Александрой, это родная бабушка мамочки. Нас уговаривают не бояться старухи. И в самом деле, страшно только вначале, но проходит минут пять — и я то ли понимаю, то ли чувствую: моя прабабушка Александра — конечное звено цепочки, к которой принадлежу и я. Так, как живет она, жили сотни, тысячи наших предков, воспроизводя один и тот же образ жизни — работали, молились, ели, спали. Вот думать об этом действительно страшно, будто стоять на краю пропасти... Кыш! — хочется крикнуть привидениям старого домика и во все лопатки бежать на улицу, где светит июльское солнце и летит тополиный пух... Последние годы бабушка Александра никуда не выходит, и тетя Тоня, ее младшая дочь, носит в крошечный домик еду. И это, и другие дела по хозяйству наша двоюродная бабка делает легко и со смехом. Хотя какая она бабка? Когда мы с братом, дошкольники, приезжали в Надежино, веселой красавице Антонине было лет пятьдесят. Говорят, первой невестой считалась в деревне, а вышла за невзрачного Кольку Шатрова — выбора-то после войны не было. Хоть неказист был Колька, а гармонист: выходит, тоже первый парень...

История Колькиного сватовства давно стала легендой, и ее рассказывают на всех семейных праздниках и застольях после третьей рюмки, хотя ничего особенного этот рассказ из себя не представляет. Ну, пришел человек свататься, посидел за столом, для чего-то вышел на кухню, плюхнулся на выдавший виды венский стул и провалился в него до самого пола. Хозяева с невестой ждут-пождут — нет жениха... Наконец слышат — кто-то кричит не своим голосом:

— Тонь!.. Тонь!..

Бежит Антонина на кухню, а из стула одни ручки-ножки торчат. Вот скажите мне: что в этом смешного? Тем не менее сценка рассказывается с прологом и эпилогом, в одних и тех же интонациях, и главный комизм, как я понимаю, состоит в гомерическом смехе рассказчика, которым обычно выступает моя баба Нюра. Когда все насмеются до слез, будто слышат это впервые, бабушка начинает вторую серию, в которой Николай, будучи молодым мужем, опять ушел, на сей раз в огород, и снова пропал. Где его обнаружили, история умалчивает, но новобрачная почему-то искала Кольку в бочках для водостока, мешая в них воду черенком от лопаты...

Дядю Колю, который проработал всю жизнь механизатором в колхозе, мы обожаем за какую-то сверхдоброту и покладистость, и в дождливые деревенские дни, когда на речку идти нельзя, бабушка рассказывает нам его военную историю. Как и Михаила Николаевича Земскова, Николая Павловича Шатрова война застала в армии, до сорок четвертого он воевал, а летом сорок четвертого его пехотная часть перешла в наступление, прорвалась в тыл врага и продвинулась настолько глубоко, что оказалась в окружении. Долго солдаты скрывались в лесу; засуха, воды нет, и от жажды пили собственную мочу. Когда на них все-таки вышли немцы с собаками, изможденные люди приняли бой, почти все товарищи Кольки погибли, он притворился убитым, но собак не обманешь... Несколько месяцев Николай Павлович сидел в польском концлагере, из которого ему с двумя такими же, как он, отчаянными, удалось бежать. Добрался вместе с товарищами до партизан, до конца войны партизанил, и только благодаря этому «простила» ему Родина, то есть НКВД, что «сдался в плен». Вернулся с войны — женился на Антонине, родились двое мальчишек. Эти мальчишки, Слава и Саша, удались в младшего брата матери, красавца Александра Шибакова, который, как гласит легенда, был настолько хорош собою, что мог соблазнить любую,

и соблазнял, пока мог, но, в конце концов, превратился в обычного алкоголика... Тоня детей обожала, ухаживая за ними отнюдь не по-деревенски и опекая вне всякой меры. И толковые, интересные вышли ребята, одеты были лучше всех, из московских универмагов, куда регулярно к племяннице Наде ездила мамина тетка. Но что-то в них не задалось, не вышло. Будучи лучшими женами деревни, ни Славик, ни Саша так и не женились, всю жизнь проработали у моего отца на телестанции, куда так и ездили из Надёжино. Ну и, конечно, алкоголь... Вслед за красавцем Александром Шibaковым Бахус забрал Тониного Славика, и, слава богу, это произошло уже после смерти Тони. Тело его, найденное в темных шарьинских закоулках после очередной пьяной драки, привезли в наш больничный морг как неизвестно чье. Ему было всего пятьдесят шесть. Младший, Саша, пил умереннее, под старость даже «поджегился», но жизнь, что называется, прошла мимо. А может, наоборот, прокатилась по облегченному сценарию?

— Тоня наша сама виновата, — иногда говорит мамочка. — Ведь годами гнала самогон, наливала ребятам. Считала: пусть уж дома лучше выпьют, чем «под забором».

Эти застолья для нас, долгожданных городских родственников, — тоже картинка из детства. Длинный стол поперек дома, неизменные графинчики с ледяной мутноватой жидкостью, после которой мужчины надолго уходят спать «в полог» и возвращаются к вечеру, чтобы продолжить. Но ребят в молодости я пьяными не помню. Помню веселыми, шустрыми, увешанными сетками с десятью — для скотины — буханками хлеба. Помню в выцветших ситцевых рубахах, собирающихся на каторжный от слепней и жары июльский сенокос. Помню, как Саша и Саша с нами играли, а мы на них разве что только не ездили... Помню, как сушили бредень, возвращаясь с ведром рыбы после ночной рыбалки.

Из этой семьи остался один только неунывающий Сашка Шатров. Со временем переехал в ближайшее село, где родители на пенсии получили «однушку», а вот

дом-пятистенок Славка спалил. Когда мы с Надеждой года три назад были в Надежино, где, кажется, все, кроме Тониного дома, осталось на своих местах, Саша нас отвез к своим, на деревенское кладбище, и мы поразились ухоженности трех, точно свежих, могил. И оградка, и памятники — все сделано Сашкиными умелыми руками, и еще — цветы, что когда-то повсюду росли у них в огороде...

Глава шестая «Голубой огонек»

Как утверждают очевидцы, эта история вошла в хроники становления телевидения на просторах СССР и передавалась из уст в уста. Тысяча девятьсот шестьдесят девятый год. В Шарье только начали строить телевизионную вышку, релейное отделение уже работало, но на вещание Москва добро не давала. И письма писали, и костромское начальство обращалось по партийной линии — бесполезно. Прикинули в Шарье и так и сяк — решили выбрать ходяков и отправить их прямо к министру. А кого выбирать? Ясное дело, моего отца, который возглавляет шарьинскую телестанцию, плюс редактора местной газеты. Долго готовились, записались на прием и отправились в Москву. Приехали в министерство, отстояли очередь, наконец, секретарь приглашает. Министр, судя по всему, не в духе, к тому же замученный посетителями, смотрит на часы и обращается к визитерам:

— Товарищи, будьте кратки: у вас три минуты.

— Короче некуда, — усмехается мой отец, — у папуасов в Новой Гвинее телевидение есть, а в Шарье, что в двенадцати часах поездом от Москвы, нет.

Министр рассмеялся, и проблема была решена.

Сначала трансляция шла только по воскресеньям, телевизоров ни у кого, кроме Поповых, не было, и мы все выходные проводили в соседской квартире. Приходили вчетвером, включая моего грудного брата,

усаживались и смотрели всё подряд: новости, концерты, парады, редкие мультки, «Голубые огоньки»... Особенно «Огоньки» — они шли в прямом эфире, — где краем глаза можно было увидеть жизнь советского высшего света и хоть что-то скопировать. Да и сам факт того, что «простой» ящик что-то показывает, вызывал у всех бурный восторг. Когда к ящику чуть попривыкли, в топ популярности вышли три темы, не имеющие, на первый взгляд, ничего общего, — КВН, фигурное катание и Алла Пугачёва. Игры КВН в семидесятые тоже шли в прямом эфире, и жизнь в это время полностью замирала. Команд было много, часть кавээнщиков приезжала из регионов, и все болели за своих, даже если из-за разницы во времени передача шла поздно ночью. КВН переживал свои лучшие времена, игроков знали в лицо и чттили, как космонавтов. С клубом весёлых и находчивых соперничало фигурное катание; советские фигуристы легко выигрывали золотые медали, и это было так здорово — видеть на пьедестале Ирину Роднину, плачущую от счастья под звуки советского гимна... Ну, и, конечно, Алла Борисовна в балахонах... Вопрос: кто такой Брежнев? Ответ: мелкий политик времён Аллы Пугачёвой. Этот анекдот времён застоя уже тогда не воспринимался как анекдот. И дело было вовсе не в наряде, сражающем наповал после стоящих по струнке певцов ВИА в чёрно-белых костюмах. Дело — в железной советской унификации, которая каким-то чудом не коснулась ни Пугачёвой, ни кавээнщиков, ни фигуристов...

Прошло несколько лет, я подросла и стала приезжать к отцу на работу; здесь, конечно же, телик было смотреть в сто раз интереснее:ходишь в цех, а там десятки, сотни экранов до потолка, на экранах — все разное, даже, бывает, цветное, вокруг ходят сосредоточенные сотрудники, разговаривают на своем техническом языке и что-то там подкручивают. Мешает, правда, шум и бесконечная вибрация, но этого, кажется, никто из них не замечает. Здесь, на станции, собрана вся лучшая техническая интеллигенция города, первопроходцы, те самые

«физики», о которых так много говорят и показывают. Как и положено, «физики» — молодые, красивые, остроумные, почти как в фильме «Девять дней одного года» с Баталовым, Смоктуновским и Татьяной Лавровой. Фильм, конечно, я посмотрю значительно позже, но эта атмосфера шестидесятых и то, что физики всегда ходят по краю, сразу резонирует воспоминанием о телестанции.

Самая жуткая на станции вещь — это вышка; огромная, более двухсот метров, она хищно стоит, расставив нижние конечности, и будто пронзает небо. Поначалу я просто боюсь к ней подойти: если задрать голову вверх, на фоне движущихся облаков полное впечатление, что вышка падает набок. Но постепенно привыкаю, подхожу, трогаю крепкие черные лапы и потихоньку начинаю взбираться вверх по специальной лестнице, которая тоже ужасно страшная и ведет сначала на первую, затем на вторую, третью и так далее, бесконечные площадки, куда «папины ребята» все время поднимаются для техосмотра.

А раз в несколько лет — о ужас! — еще и красят вышку. Дальше первой площадки забраться не удастся никогда, не выдержав, я бегу назад, к телевизорам, стараясь не смотреть на страшную конструкцию. При сильном ветре она, как все длинные вертикальные конструкции, начинает раскачиваться, гудеть, и амплитуда размаха, бывает, достигает нескольких метров. Телестанция, к огромному счастью шарьинцев, о котором они пока что не подозревают, стоит далеко за городом, в первозданном лесу среди роскошного малинника, куда мы с бабушкой нет-нет да приедем за ягодами. Диких зверей здесь поблизости нет (только змеи), вышка — вон она, отовсюду видно, так что заблудиться нельзя. И добраться легко — на станцию ходит специальный уазик, возит сотрудников. Когда мне надоедают и телебашня, и малинник, я забираюсь в отцовский кабинет (папа почти всегда где-то ходит) и печатаю там на машинке. Я очень стараюсь написать хотя бы несколько строк без ошибок, но то забуду поставить пробел, то нажму не ту клавишу — приходится

вставлять чистый лист и начинать заново. Других развлечений на станции нет. От скуки я путаюсь у взрослых под ногами, те тщетно ищут в программе мультики, но какие же мультики в будни? Коллектив здесь сугубо мужской, практически один и тот же — менять работу не на что, да и нет смысла.

Телевизоры, которыми, наконец, обзаводится вся Шарья, потихоньку начинают перегорать и ломаться. А где их, кроме как на телестанции, отремонтировать? «Радуги» и «Рубины» везут сюда, деньги папины «ребята» не берут, и народ платит водкой. Может быть, из-за этого отец периодически возвращается с работы подшофе, что вызывает у мамочки сначала раздражение, затем гнев, а после — самое настоящее отчаяние: ведь чем больше она сопротивляется, тем чаще это происходит. Техника работает исправно, начальство далеко — в Костроме, на телестанцию ни одна жена никаким своим ходом не доберется: почему бы не расслабиться? Поначалу это и в самом деле выглядит безобидно: ну, выпил человек пару-тройку раз в месяц — ничего страшного. Но очень скоро эта пара-тройка растягивается на несколько дней, пугая своей интенсивностью. Выпив, отец ходит туда-сюда по квартире, пытается «проверять уроки», чего в трезвом состоянии не делает никогда, спрашивает, где мать, я огрызаюсь и убегая на улицу. Это теперь мне понятно или почти понятно, почему он пил. Да даже если непонятно... У каждого своя жизнь и свое техзадание на эту «командировку», карма, звезды, линия судьбы, скелеты в шкафу, не судите, да не судимы будете. А тогда...

Тогда отец всем нам только мешает. Мамочке стыдно перед соседями, что он опять идет по двору пьяный, я стараюсь не приглашать друзей, особенно мальчиков. И — постоянно обвиняю и грублю. Вслед за мной папу начинает обвинять брат, толку от этого нет никакого, и однажды я слышу от мамочки: «Алкоголизм». Как все алкоголики, отец думает, что в любой момент может завязать, у него даже бывают приличные перерывы, во время которых он угнетен и угрюм, но бросить уже не получается, и отец увязает

все глубже. После сорока он начинает пить ежедневно, утром его рвет от интоксикации, он едет на работу, откуда водитель его привозит еле стоящим на ногах, и так повторяется каждый день, каждый месяц и каждый год. Когда это происходит еще с перерывами, мамочка пугает его уходом, отъездом, разводом; протрезвев, папа божится, что завтра — все, ни одной рюмки, но в это уже никто не верит, включая его самого. Несколько раз мама, не зная, что делать, призывает своих и отцовских родителей, те с трагическими лицами переступают порог нашей квартиры, устраивают отцу головомойку, от которой он сбегает в гараж, неделю после этого держится и уже запивает по-черному. Я вижу, как он мучится, борется с собой, как у него, трезвого, дрожат руки, как он стоит до последнего и, измучившись вконец, наливает. Хлоп — и кошмар отпустил, жизнь засверкала, дала передышку. Так повторяется раз, другой, пятый, сто пятый...

И, в конце концов, мама решает махнуть на отца рукой, соорудив себе традиционную конструкцию российского женского счастья: лишь бы дети были здоровы. Дети и в самом деле начинают меньше болеть, мамочка с головой уходит в работу, и ей, как и другим перспективным врачам, периодически предлагают то Кострому, то Москву, то кардиоцентр, но она упорно отказывается, боясь бытовой неустроенности и того, что мы с братом окажемся «на улице». Мы и так все время на улице — во дворе, но нашей улице мамочка доверяет.

Вскоре у отца находят рак почки, почку удаляют, но даже страшная болезнь его не останавливает, и все идет как обычно, но уже без борьбы. Осознав, что сопротивление бесполезно, отец мучительно проживает полдня, а в три часа у нас уже сидит Лексеич — патологоанатом Евгений Алексеевич, сосед напротив. И отец, и Лексеич находятся в одной и той же стадии — пьют без сопротивления и чувства вины, управляют быстро, но в одиночку делать этого пока еще не могут. Статичными позами, вязкими диалогами и остекленевшими глазами они напоминают двух смертников, о кото-

рых на время забыли. Мама говорит: отец долго не проживет — и это все понимают. И однажды у меня раздается звонок. Мама:

— Отец в коме в реанимации, выезжай.

Я выезжаю, но успеваю только на похороны. Ему было всего пятьдесят семь...

Накануне похорон гроб с телом заносят домой, и мы по очереди сидим у него всю ночь. У меня это первая близкая смерть, и я испытываю ужас. Несмотря на морг и уколы формалина, неизбежные изменения уже произошли, и я отца почти не узнаю. Ночью у гроба у меня всплывает это воспоминание. Лето. Мне года три. Мы с папой (мамочка, как всегда, на работе) идем на какой-то заброшенный пруд накопать червей для рыбалки. Ненавязчиво светит солнце, тропинка петляет по каким-то канавам и кочкам, а папа — юный и красивый — оборачивается, смеется и говорит:

— Давай-давай, не отставай. — И я физически ощущаю, как он меня любит.

Таких воспоминаний, когда мы с ним вдвоем, очень мало. В детстве я либо с мамой, либо с бабушками, либо одна... И это, первое, для меня очень ценно. Еще я вспоминаю, каким счастливым отец возвращался с рыбалки, всегда что-нибудь доставал и протягивал:

— На, Тетка Елка послала.

Обычно Тетка Елка слала яйцо или яблоко, которые папа брал с собой для перекуса, но не съедал, я это знала, но лет до двенадцати с упоением играла в эту игру... А еще он считал меня очень красивой и постоянно повторял:

— Ты будешь выбирать, а не они тебя.

Насчет красоты я его, разумеется, переубеждать не пыталась — пусть человек порадуется. А выбирать потом и правда приходилось.

И, конечно, сакраментальное:

— Пап, можно я пойду в поход (на танцы, ва-банк, замуж)?

— Иди спроси у мамы.

Тоже наша домашняя старая шутка...

Похороны в тогдашней Шарье — особенные, какие-то средневековые. На грузовую машину, у которой опущены борта,

кладется ковер, покрытый еловыми лапами; сюда ставятся гроб и венки, а вокруг, держась за стенки гроба, усаживаются самые близкие. В таком виде (в любое время года) на всеобщем обозрении катафалк (так и хочется уточнить — похоронные дроги) движется по дороге, а за ним — вся процессия. Через какое-то время люди садятся в автобус, но те, кто на катафалке, остаются на своих местах и едут так до кладбища. Папа умер в апреле, но, несмотря на холод, мама и бабушка садятся рядом с гробом на самом ветру. Я с девятилетней дочкой устраиваюсь в автобусе, хотя мне бы надо быть там, с ними... Дочку вообще лучше на похороны не брать, но впервые в жизни здесь, в Шарье, мне ее не с кем оставить — все родственники хоронят папу. Перед тем как двинуться, гроб ставят перед домом на табуретки, в последний момент я замечаю, что мамочка — без перчаток, и отдаю ей свои... Поминки из-за сухого горбачевского закона проходят не в кафе, где теперь алкоголь запрещен, а в нашей хрущевской квартире, и мы с Надеждой, маминной сестрой, сбиваемся с ног, чтобы усадить-обслужить всех. Народ идет и идет — коллеги, соседи, знакомые, дальние родственники, друзья... Это продолжается бесконечно долго, до позднего вечера, и потом мы с Надеждой и мамой сидим на полу, пытаюсь как-то осознать случившееся. Как ленту, мы принимаемся раскручивать папину жизнь, но вспоминаются только две вещи — магаданский интернат и то, как отец любил маму. И, конечно, этот вопрос: почему и когда у него включилась программа самоуничтожения? А главное: почему он не стал этой программе сопротивляться?

Последняя, десятилетней давности, попытка что-то изменить никак не выходит у меня из головы. Казалось, вот он, способ, найден: родители купили машину, да не какую-нибудь — модную «восьмёрку», отец сел за руль и совсем позабыл о своей пагубной страсти. Сдав сессию, я приезжаю домой на каникулы, лето, жара, мама с братом куда-то уехали по путевке, папа встречает меня на новой машине, и мы долго колесим по Шарье, желая продлить это счастье.

Ехать в Шарье особенно некуда, через полчаса она просто заканчивается, и мы мчимся то по Шангской дороге, в Надежино, то на речку Ветлугу, то еще куда, лишь бы ехать и ехать. Радуюсь, что с машиной все получится, хотя раньше он не водил, папа смеется, что-то рассказывает, мы ужасно гордимся друг другом, а главное, я ощущаю его любовь, как тогда, в детстве, когда мы шли копать червей на дальний пруд... Года два отец увлечен этой игрушкой настолько, что они с мамочкой ездят на машине то в Кострому, то в Москву, то в Ярославль, и у мамочки появляется отзвук надежды. Впрочем, рамки, в которых держит автомобиль, тяготят отца все сильнее; чтобы выпить, он устраивает себе перерывы в вождении и, наконец, продает машину. Всем ясно: больше попыток не будет...

Оказывается, папина смерть — лишь начало. Вслед за отцом один за другим начинают уходить его сотрудники, точно на том свете он собирает свой коллектив для какой-то иной телестанции. И диагноз у всех одинаковый — онкология... Бесконечные похороны. И у всех один и тот же дедлайн — до шестидесяти. Потому что излучения от телевизионной башни их убивали десятилетиями. А теперь эти вышки спокойно стоят в городах.

Теперь к нам часто ходит моя баба Тоня, плачет и обнимает портрет сына, который давным-давно сделал и подарил Федоров...

Глава седьмая: «Взрослым о детях»

Лет с четырех я гуляю во дворе одна, как и все соседские дети. Только что у меня родился брат, и это первое несчастье моей детской жизни. Сначала вдруг исчезла мама, и мы неделю жили с папой вдвоем, как два подростка — на бутербродах и хлебе с вареньем, спать ложились в два часа ночи, и это было очень весело. Когда выясняется, что у нас мальчик, отец с Владимиром Павловичем опустошают по бутылке водки и стреляют в воздух с балкона из охотничьего ружья,

пока кто-то из соседей не вызывает милицию. А потом все переворачивается вверх дном: мама, которую я обожаю, перестает обращать на меня внимание, целыми днями носится с этим новым ребенком и ругает меня, если я отказываюсь его развлекать.

— Может, ну его, выкинем на снег? — смеется надо мной веселая Гутя Попова, и мои глаза вспыхивают надеждой:

— А можно???

Когда у меня подскакивает температура, происходит и вовсе ужасное: меня отсылают спать в соседнюю комнату, чтобы не заразила брата, а я решаю — с глаз долой. Правда, с его появлением я обретаю свободу дворовых прогулок и пользуюсь ею, как только могу. Сейчас в это страшно поверить, но дети в Советском Союзе перемещаются по улице точно так же безнадзорно, как взрослые, что совершенно никого не беспокоит. А чего беспокоиться? Чай, не в Америке живем — в СССР, где моя милиция меня бережет, и вообще скоро никаких преступников точно не будет. Идеологическая машина по созданию мифа о большой и доброй стране, которая бдит о тебе днем и ночью, работает без перебоев, о всяких гадостях вроде гибели детей, масштабных авариях и катастрофах газеты молчат, как партизаны, интернет изобретут лет через тридцать — чего волноваться-то? Мнимая защищенность — такая же часть советского проекта, как коллективная собственность, железный занавес и газета «Правда». Ну и что, что в «Правде» нет известий, а в «Известиях» нет правды? От мамочки я знаю: у ребенка только один враг — это простуда, так что мир, в общем, принадлежит мне. Лично для меня открытие этого мира началось с одной комической истории, которая многое объяснила мне про запреты. В то время со мной сидела нянька баба Лиза, и эта баба Лиза имела редкое достоинство — она настолько вкладывалась в собеседника, что болтать с ней было подлинным счастьем. А поскольку к четырем годам я знала тьму всякой всячины, поражать бабу Лизу своим развитием вошло у меня в привычку. И вот однажды на прогулке довелось мне услышать слово

п*зда. Вроде бы, его произнес вон тот дяденька, которому было трудно встать со скамейки, и он даже упал в те кусты.

— Вот ведь п*зда! — кричал дядька, не в силах принять вертикальное положение, и я решила, что п*зда — это, видимо, крайнее выражение досады.

Слово мне показалось затейливым, и при первом же удобном случае я ввернула его няньке. Против обыкновения та совсем не обрадовалась, а, напротив, как-то странно растеклась на стуле, и мне было велено молчать, иначе «отправишься в угол, а язык твой поганый горчицей намажу». Поведение человека, которого я считала своим другом и даже поклонником, меня настолько озадачило, что продолжить опыт с новым словом было просто необходимо, и я назло повторила:

— П*зда, п*зда, п*зда.

Не в силах заткнуть этот фонтан, нянька и в самом деле понеслась за горчицей, пригрозив мне страшным голосом:

— Еще раз скажешь — придет п*зда из леса и растерзает тебя.

Утверждение звучало настолько сомнительно, что, пока нянька копошилась на кухне, я влезла на подоконник и пару раз прокричала опасное слово в форточку. Но то ли п*зда не услышала, то ли ее поблизости не было — в общем, она не явилась, а несчастная Лизавета весь вечер пила корвалол. Слово занозой сидело в моей голове, и, несмотря на то, что горчицу я получила по полной программе, твердо решила проверить, правду ли говорит нянька. Возможность представилась через пару месяцев, когда мне разрешили погулять одной, и я сразу же изложила проблему Марче. Мы решили пойти до ближайшего леса — лес произрастал прямо за гаражами — и орали там кодовое слово до посинения, с каждой секундой теряя надежду встретить загадочное страшилище...

Никаких игровых площадок во дворах нет, но сам двор — роскошная игровая пло-

щадка с гаражами, хозпостройками, заборами, кучей песка, остовом сгнившей машины, старыми досками и другими сокровищами, которые мы используем по собственному усмотрению. Не знаю, что на тему детской дворовой безопасности думают говорящие головы педагогической передачи «Взрослым о детях» — ее не смотрит никто, но наши родители точно не думают ничего, им просто некогда думать; у родителей работа, общественная нагрузка, смотрят художественной самодеятельности и добывание продуктов в очередях. Для нас же главное — вернуться домой до наступления ночи, иначе завтра никуда не выпустят, а хуже этого нет ничего. Тем не менее детские стандартные развлечения (если смотреть на них из сегодняшнего дня) шокируют даже не слишком впечатлительных взрослых. Самое безобидное, что мы делаем, — наблюдаем за бурной жизнью крыс под старыми досками, которые лежат настилом. Крыс это несколько не смущает, и они спокойно перемещаются по своим делам. Насладившись жизнью животных, мы отправляемся делать секреты. Для этого нужно вырыть яму, на дно ямы уложить узором цветы, камни и разные разности, прикрыть это сверху обломком стекла, засыпать песком и как-то пометить, чтобы потом разгрести и посмотреть «секрет».

Мы сидим на заборах, носимся по гаражам, лазаем по заброшенным стройкам и теплотрассам, купаемся в заполненной водой карьере и, втиснувшись внутрь деревянной катушки для троса, катимся в ней со спуска, пока катушка, развив скорость, не врежется во что-нибудь и не разобьется в щепки. Мы можем нарыть моркови на каком-нибудь поле, помыть ее в луже и тут же сгрызть, регулярно жуем гудрон, уважительно называя его жвачкой, и вшестером откусываем от одного яблока. Зимой мы сходим в снег с крыш гаражей, и, как правило, ничего трагического не происходит. За весь дошкольный период только и было, что два опасных случая, и те закончились благополучно: Марча весной провалилась в котлован с водой по шею, и мальчик из соседнего

подъезда надышался чем-то до рвоты, забравшись в пустую, брошенную строителями цистерну... Зато — повторюсь — мир принадлежит нам.

Ближайшая от Больничного городка школа находится в сорока минутах ходьбы, автобусы до нее не ходят, и мы с Марчей с первого класса добираемся туда сами, без провожатых. Единственное, за чем следит мамочка, чтобы я хорошо ела, и еще заплетает мне косы. Никто ни с кем уроков никогда не делает, портфелей не проверяет, учитель всегда прав, жалобы на приятелей не принимаются: разбирайтесь сами. Мир советского ребенка существует настолько обособленно от мира взрослого, что эти миры практически не соприкасаются. И, конечно, в мире советского ребенка не принято много рассказывать о том, что произошло в школе или, не дай Бог, во дворе, а тем более доносить на товарищей — чем взрослые знают меньше, тем лучше. Мамочка, например, не подозревает о том, что я регулярно бываю на крыше нашего пятиэтажного дома и бегаю вместе со всеми за горохом на прилегающие поля, где нас поджидает сторож с дробовиком. Мамочке невдомек, что самое интересное всегда происходит после уроков, когда мы с Марчей возвращаемся домой, и что это возвращение может длиться часами. По пути мы сочиняем бесконечные истории, если попадается траурная процессия, глазами на похороны (интересно, когда хоронят военных, потому что труп никогда не сочетается с блеском формы), заходим в магазинчик «Огонек», что как раз на середине пути «школа — дом», покупаем ириски и тащимся дальше — мимо редакции «Ветлужского края», химчистки, парка и стоматологической поликлиники. Но это длинная дорога. А есть еще короткая — лесом, где нам ходить запрещено. Но мы все равно ходим по хорошему протоптанной тропке, перелезаем под трубами теплотрассы и сокращаем путь раза в два. Самое страшное в этом лесу — персонажи со спущенными штанами (мы их зовем «голожопики»), которые что-то там делают со своими интимными местами, и мы, завидев такого, либо пускаемся бежать, либо

ждем взрослых попутчиков. Впрочем, появляются «голожопики» только в теплое время года, и весьма редко. Дорога лесом хороша еще и тем, что на ура идут всякие ужастики о том, что в черном-черном лесу стоит черный-черный дом, в этом черном-черном дому стоит черный-черный стол; на этом черном-черном столе стоит черный-черный гроб, в этом черном-черном гробу лежит черный-черный покойник и кричит:

— Отдай мое сердце!!!

Последнюю фразу следует орать не своим голосом, чтобы тот, кому рассказывают ужастик, сиганул со всех ног, не разбирая дороги. На киноэкране ужасам места нет; может быть, поэтому они живут только в детском фольклоре, который бурно развивается в спальнях пионерских лагерей, повествуя о гробе на колесиках и родителях-убийцах, перерабатывающих своих детей в печенье. И гроб на колесиках, и печенье из детей приедаются быстро, и мы упорно ищем ужас в быту. Я, например, всю дорогу пристаю к бабе Лизе, которая, однажды рассказав мне про смерть в балахоне с косой, вынуждена теперь повторять свой рассказ в разных редакциях.

— И что, так и придет средь бела дня и скажет: собирайся?

— Так и придет и скажет, — охотно кивает нянька и вяжет свой вечный носок.

— А потом?

— А потом раз, взмахнула косой — и привет.

Я пытаюсь представить, как можно косой скосить человека, но мое воображение здесь бессильно.

— А ты ее видела, Смерть-то?

— Видела, как не видеть. К соседу Кольке приходила. Забрала его и ушла.

Я пытаюсь добиться каких-то подробностей — ну, там, фасон плаща или размер косы (что, такая, как у тети Тони в деревне?), но нянька только вздыхает и смотрит в окно.

Марче на подобные темы, кроме меня, поговорить не с кем, но однажды она мне с гордостью сообщает, что у них за стенкой живет натуральная ведьма. Рядом с Федоровыми и в самом деле проживает какая-то

древняя бабка со своими весьма пожилыми детьми, так вот Марча клянется, что видела, как эта старуха ночью вылетает из форточки на метле, а в полнолуние входит в Марчину квартиру сквозь стену и висит там под потолком. Месяца два мы честно следим за ведьмой, которая и в самом деле периодически выходит из дома, чтобы проверить почтовый ящик, а один раз действительно застаем ее на лестничной клетке с метлой и совком, что приводит нас в ужас... Только теперь я понимаю, сколь убого в атеистическом СССР выглядит нечисть (если она вообще есть): все упыри и оборотни проживают в единственном фильме «Вий» с Натальей Варлей в главной роли, но дальше «Вия» — ни-ни.

Но однажды происходит весьма странный случай, который я до сих пор внятно объяснить не могу. В нашем первом «Б» учится девочка по имени Ира Мелехова, которой, судя по всему, про окружающий мир известно значительно больше, чем мне. И вот однажды Ирка на перемене рассказывает, что в каждой квартире живет домовая. Естественно, мы над этим смеемся, но Мелехова, ничуть не смутившись, советует:

— Ну, хотите — проверьте... Нужно громко сказать вслух: домовая, домовая, я — хозяин дома. И чтобы никого, кроме вас, в квартире в этот момент не было.

Едва вернувшись домой, я делаю так, как велела Ирка, и в тот же миг тяжелая неповоротливая дверь, которую обычно еле сдвинешь (а живем мы на третьем этаже), распаивается без всякой причины и с диким свистом хлопает. Но это не все. Ночью я просыпаюсь оттого, что кто-то давит мне на шею, и я, как ни стараюсь крикнуть и позвать на помощь, не могу издать ни звука. А когда удается изловчиться и сестра, слышу шуршание, подобное звуку плаща-дождевика, точно кто-то невидимый вынужден торпливо ретироваться. На другую ночь повторяется то же самое, и на третью — тоже, пока меня, наконец, не осеняет опять обратиться к «домовому» и вежливо просить прощения.

После этого случая Мелехова приобретает небывалый авторитет и консультирует

всех по самым разным поводам, а однажды объясняет, откуда берутся дети, надолго погрузив нас с Марчей в шок:

— Да, мои дорогие, так просто: папа должен пописать маме в это самое место — и все.

— Что, у всех одинаково? — не верю я.

Несмотря на мелеховский авторитет, я твердо убеждена: дети появляются исключительно от объятий и поцелуев, а в некоторых случаях и без этих приятных вещей — ну, например, если женщина сильно захочет. (Где-то класса до шестого я решительно отвергаю брак и семью, а когда мне задают провокационный вопрос, откуда тогда брать детей, я с уверенностью парирую: ну, если сильно захотеть — можно родить.) Мелехова обижается и ссылается на своего старшего брата, который «знает точно» и все объяснил. Брату верится несколько больше, но когда я за этим отвратительным занятием поделанию детей представляю нашу учительницу (а у нее — трое!) или, что уж совсем ни в какие ворота, своих и Марчиных родителей, — сознание отказывается переваривать тему.

— Ну, хорошо, захотела, а дальше? — спорит вредная Мелехова.

— Зерно будущего ребенка есть во всех женщинах, и когда ты сильно захочешь, чтобы оно проросло — прорастет.

И, несмотря на то, что моя теория явно красивее, Марча ее не разделяет, твердо держа нейтралитет. Истина открывается спустя несколько лет — и не во дворе, средстве массовой и индивидуальной информации, а, страшно сказать, у меня дома, в святая святых — нашем книжном шкафу. Нет, это был не медицинский справочник, а порнографические стишки, где все было названо своими словами, а также дополнено графикой. Этот самиздат в виде маленькой желтой книжки, стоящей на дальней полке за третьим рядом книг и обнаруженный, видимо, вскоре после его появления, ставит жирную точку в нашем споре, и я, как честный человек, предъявляю его Марче. Тщательно изучив просветительскую литературу, мы зачем-то решаем ее уничтожить,

что вызывает растерянность среди моих родителей. На допросе я, конечно, во всем сознаюсь и, чтобы не подставлять отца (ясно ведь, кто притащил), предполагаю, что ЭТО нам, видно, «подбросили». Мамочка, у которой гора падает с плеч оттого, что я не потеряла страшный компромат в школе, а всего лишь его порвала, сваливает все на Пушкина А. С., объяснив, что порнографические стихи, между прочим, — его раннее творчество. Пушкин ли, Тютюкин, мне совершенно неважно, и, к торжеству Ирки Мелеховой, я надолго разочаровываюсь и в сексе, и в разговорах о нем.

Глава восьмая «Пионерская зорька»

Марча и Мальчик из нашего класса мне обеспечили переносимость школьной жизни. То, что среди сорока двух одноклассников «своих» нет и нужно как-то выживать, стало понятно сразу. Но мы с Марчей были вдвоем, а один плюс один — это, знаете ли, одиннадцать. Первый класс провинциальной школы, набирающей всех подряд, — это социум в миниатюре, а в социуме, в отличие от нашего медицинского двора, есть очень разные люди: рабочие, обслуживающий персонал, преступники, люмпены... Дети, конечно, преступниками и люмпенами быть не могут, но, как писала Ахматова, будущее отбрасывает свои тени задолго до того, как войти, и эти тени есть на лицах. Мало того, что классы переполнены, так процентов пять в них — необучаемые ученики, которых регулярно оставляют на второй год, потому что вспомогательной школы в городе нет, и отличники — их тоже пять процентов — вынуждены страдать пол-урока, пока учитель тянет двоечника на несбыточную тройку. Самые интересные и развитые дети — из военного городка, но, как правило, долго они не задерживаются: год, два — главу семьи опять переводят в другой гарнизон, а я остаюсь с генеральными персонажами своей школьной жизни — Марчей и Мальчиком. Марча всегда под рукой, с ней легко можно

развлечься и спастись от любого кошмара. Ну, а Мальчик... В него я влюбилась сразу, кажется, первого сентября в первом классе, и это чувство не покидало меня все десять лет. Иногда оно, как речка, сужалось, петляло, пересыхало, превращалось в ручей, шло параллельно другим, нешкольным влюбленностям, но всякий раз, когда я была готова проститься с ним навсегда, вставало в полный рост.

По закону жанра, Мальчик, естественно, не обращал на меня ни малейшего внимания: он ни на кого не обращал внимания, и в него были влюблены чуть не все мои одноклассницы. Но одноклассницы постепенно выздоровели, обратили свои взоры на более отзывчивые объекты — все, кроме меня. Да и что бы у меня тогда осталось, избавься я от этой любви? Писать я тогда, разумеется, не писала; это сейчас можно ухнуть в очередную книгу — и до свиданья. А тогда... Математика с физикой, в которых я ничего не понимала? Забытая богом Шарья? Изъеденный, как сыр, Больничный городок? Я приходила в класс, видела Его лицо, и мир наполнялся живым смыслом. Если же Мальчика вдруг не оказывалось на месте, класс превращался в пустынную степь без единого человека, и с этим ничего нельзя было поделать. Все остальные, даже самые лучшие, казались статистами, а если и светились, то лишь Его отраженным светом. Мальчик, впрочем, мало болел и, как правило, находился на месте, и значит — можно было спокойно учиться.

Надо сказать, я почти не страдала от этой неразделенной любви и не делала никаких попыток к сближению. Вот глупый, дурацкий «роман», рассказать о нем нечего, кроме редких разговоров и встреч уже после того, как мы окончили школу. Встречи эти никогда ничем не заканчивались, больше того, Мальчик всегда обрывал их сам, я испытывала короткую острую боль, которую удавалось быстро залечивать, и тем не менее я с благодарностью вспоминаю эту любовь, подарившую мне «параллельную» школьную жизнь. И еще. Благодаря Мальчику я не сразу, но осознала, что есть два

типа девочек: одних любят просто так, ни за что, а другим нужно очень стараться, чтобы их полюбили. И я, как это ни ужасно, видимо, отношусь ко второй категории. Открытие печальное, но довольно полезное, и я буду стараться. Нужно много читать (я и так бесконечно читаю) — это первое, ну и, главное, отличаться в тех областях, в которых другие — ни в зуб ногой. Что это за области, я пока представляю смутно, но должны же они быть! Мальчик, напротив, относится к категории первой; он вообще утверждён в жизни самым фактом рождения, и ему никаких доказательств не требуется, а вот мне с тех пор нужно всем про себя все доказывать... Или эта необходимость появилась с рождением брата? Как-то коллега, театральный критик, а театральные критики всех видов насковозь, меня спрашивает:

— Почему ты не пользуешься своей внешностью?

Кроме влюбленности в Мальчика, в первом классе происходит еще одно глобальное событие — нас всем скопом принимают в октябрят. Что это такое, мы понимаем слабо, но значку с Володиёв Ульяновым радуемся и гордо произносим октябрятскую клятву. Почему «октябрят»? Потому что по старому стилю большевистский переворот случился двадцать пятого октября, а идеологии в СССР, как известно, покорны все возрасты. Для начала каждый класс называют отрядом, выдают красный флаг с изображением Ленина в детстве, и отряд с ним куда-нибудь ходит, но чаще стоит на линейках. Для начала мы читаем своеобразного детского писателя Аркадия Гайдара, где хорошие мальчиши-кибальчиши бьют плохишей и буржуинов, палат наши пушки, несутся паровозы с алыми звездами, а Тимур и его команда носят воду и колют дрова матерям красноармейцев. Гайдар, этот адаптированный к СССР Майн Рид/Стивенсон (сравнение Дмитрия Быкова), действительно идет на ура, потому что рифмуется с нашей свободой, дворовой взрослостью и незаметно заражает этой бациллой детского милитаристского мышления, что на всякий случай вонзают в каждого советского

ребенка. Так что начиная класса с третьего все хиты дворовых игр — милитаристские: «Знамя», или, в крайнем случае, «Стрелки». Нет, «Стрелки» даже лучше: все, кто вышел во двор, делятся на две команды, и одна из команд убегает, по маршруту следования оставляя специальные знаки, а другая ее по этим знакам преследует... Детский милитаризм растет и крепнет и классу к шестому принимает официальный вид, потому что в каждой школе ежегодно проводится военно-полевая игра «Зарница», где есть полки и взводы, солдаты и командиры, кашевары и санитары, пластмассовые ружья и пистолеты, а главное — красные и зеленые или, может быть, синие, чтобы было с кем воевать... Советский классик Борис Стругацкий подобрал этому термин — радостный инфантильный детский милитаризм, который махровым цветом цветет в пионерских лагерях, где ребенок проводит значительную часть жизни.

В лагерь мне пока еще рано, так что после первого класса меня отправляют в санаторий на Черное море. В Феодосию. В жизни советских людей существовало два моря — Черное и Азовское. И, конечно, все стремились съездить на Черное. Во все времена это было довольно дорогое удовольствие, поэтому народ охотился за профсоюзными путевками, которые в разы дешевле, так как их частично оплачивал профсоюз. Выдалась какая-то профсоюзная путевка — надо брать. Я, конечно, не понимала, что меня ждет, и радостно собиралась. Разработали такую схему: в Феодосию меня везет папа, несколько дней там живет, пока я привыкаю, затем возвращается домой, а забирать придет мама. Оказавшись в этой Феодосии за каким-то гигантским забором перед лицом медкомиссии, которая только что под лупой меня не рассматривает, я принимаюсь отчаянно рыдать. Я рыдаю с утра и до вечера в надежде на то, что папа одумается и мы вместе вернемся домой, но он почему-то меня оставляет, и мне приходится там выживать, без Марчи и Мальчика. Ничего плохого в этом черноморском санатории, разумеется, не было, но это страшное

чувство, что ты — совершенно один и в далекой тюрьме, я помню до сих пор. Помню асфальт в фиолетовых точках от плодов смоковницы, помню холодное море, не приносящее и сотой доли того удовольствия, что давала мне речка Шанга в Надежно. Помню ужасные антивоенные вечера, на которых нам рассказывали о страшной атомной бомбе, сброшенной на Японию, и о том, как от лучевой болезни умирала японская девочка, которой врач пообещал, что она выживет, если сделает миллион бумажных журавликов. Девочке это было не под силу, и тогда дети всей планеты стали делать для нее журавликов и отправлять в Японию; девочка все-таки умерла, а журавлики шли и шли...

Кажется, я даже ни с кем там не подружилась, несмотря на то, что умею мгновенно обрести друзьями в любой поездке. Через какое-то время приезжает мама, и мы еще неделю живем в Феодосии, но уже на квартире, ходим на базар и на море, ездим на каких-то корабликах и ужинаем в шашлычных, и это, конечно же, настоящее южное счастье. Гигантский бонус этого счастья состоит еще и в том, что мама приехала одна, без брата, который сразу после своего рождения отодвинул меня от нее и лишил ощущения избранности.

После Феодосии я раза три ездила в местные убогие пионерские лагеря и ни разу не испытала там ни такого одиночества, ни последовавшего за ним острого счастья.

Последним в череде лагерей оказался «Артек», куда я отправилась уже в седьмом классе, к тому же в сентябре, во время учебы. И опять я затрудняюсь с объяснением, что такое «Артек»... В пятом классе всех детей принимали в пионеры — повязывали им на шею красный галстук, и дети обещали «горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия». Против кого бороться, никто не уточнял, да мы, кажется, и не спрашивали. Всегда ведь существуют «мы» и какие-то оппортунистические «они», и вот это ощущение, что ты, слава Богу, «у нас», в СССР, лучшем ме-

сте на свете, — одно из главных ощущений детства. Считалось, что в пионеры принимают самых достойных, но в реальности туда брали всех, и у нас в школе не было случая, чтобы кто-нибудь вдруг заявил: «А не остаться ли мне по ту сторону пионерии?» С одной стороны, это бы колоссально облегчило жизнь: не надо ходить на линейки и сборы, вести внеклассную работу, заниматься с отстающими... Да-с! Это сейчас родители всякого нормального ребенка целое состояние тратят на репетиторов. А тогда к двоечнику цепляли буксир в виде отличника, и отличник регулярно объяснял ему то, что не смог донести учитель. Я в отличниках не числилась никогда, но тоже с полгода ходила к одному татарскому мальчику, приехавшему в Шарью из Башкирии. Но с другой стороны, если ты не в пионерах, значит, ты против нас?.. Мы, впрочем, этими вопросами не заморачивались: красный галстук на шее — это довольно красиво, главное — гладить-стирать его вовремя. Помимо всякой дребедени вроде линеек и сборов, пионеры имели собственную газету, «Пионерскую правду» (которую выписывали все), собственную телепередачу «Отзовитесь, горнисты!» (где показывали идущих строем подростков с красными галстуками), специальную радиопередачу «Пионерскую зорьку» (которая шла каждый день в несусветную рань и портила настроение на всё утро) и, как теперь говорят, мегалагерь «Артек» в Крыму. Создавали «Артек» (в переводе с греческого — перепелиный остров) как здравницу для больных туберкулезом, но постепенно лагерь разросся и превратился в парадно-выходную пионерскую цитадель, которую можно было продемонстрировать иностранцам. Поездкой в «Артек» награждали отличников и активистов, и это всегда было событием, так как на город приходили одна-две путевки. Но отличницей я не была, и путевку в «Артек» мне купили родители — это тоже практиковалось. Перед тем, как уехать, меня вызвали местные пионерские боссы и долго инструктировали, как себя вести, хотя чего там было инструктировать — смена предполагалась обычная, а не международная.

Международная была накануне. Но главное, боссы познакомили меня с Мальчиком... Мальчиком Из Другой Школы, который тоже ехал в «Артек», но уже как награжденный.

Мальчик Из Другой Школы оказался интересным и очень спортивным, к тому же старше на два года; он сразу продемонстрировал невиданную галантность. Я даже как-то поверила, что с его помощью забуду безразличного «своего» Мальчика... Пионерская цитадель-символ, как и сам Советский Союз, была своего рода империей и состояла из трех больших лагерей — Морского, Горного и Прибрежного, самого обширного, в который определили и нас. Я попала в Озерную дружину, Мальчик Из Другой Школы — в Речную. И даже там, на уровне отряда, тебе все время внушали, что ты («Слава Богу!») в Советском Союзе... В первый же день нас заставили разучить песню: «... Встал Ильмень в строю и Балхаш, а за ними — Севан, Селигер и Байкал». Как и все артековские отряды, наш отряд (названный именем крупного армянского озера «Севан») был сформирован из представителей союзных республик: человек пять — из России (тогда это была республика!!!), по двое — из Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана; по одному человеку — из Эстонии, Латвии и Литвы. Почему-то мы, которые из России, были не разлей вода с казаками и якутами, а грузины, армяне, прибалты предпочитали вариться в своей микродиаспоре. Впрочем, на ассимиляцию времени не оставалось, так как артековский день оказался распisan на бесконечные мероприятия — линейки, смотры, конкурсы и сборы. С утра нас ненадолго водили на пляж, но самозабвенного купания не получалось и там: по свистку зашли, по свистку вышли, не успели согреться — опять свисток на купание. Кроме пионерских мероприятий, каждый должен был записаться в кружок типа мягкой игрушки и регулярно вести дневник артековской жизни — на это тоже отводилось время. Тем не менее мне как-то удалось обзавестись собственной компанией, которая стала чем-то вроде противовеса бесконечному официо-

зу. Компания образовалась сразу и состояла из четырех человек — русской девочки с Дальнего Востока, казашки из Кзыл-Орды и латыша из Риги. Я, Люба Яныгина, Оля Хан и Арнис Зитанс. С самого начала мы старались держаться вместе, все время смеялись, пробовали развлечься дворовыми играми (пытались пробраться во время тихого часа по балкону в соседнюю спальню), но были пойманы и отчитаны за «антиартековское» поведение. Если бы не Люба, Оля и Арнис, я бы на третий день скукожилась от этих построений и речевок. Пионерский официоз, начиная с зарядки, проходил на огромном стадионе, он же выполнял функцию сценической площадки. И в «Артеке», и в самой пионерской организации изо всех сил культивировалась коллективная жизнь; личность там не фигурировала вообще. Были, конечно, пионеры-герои, но, во-первых, они были давно, а во-вторых, пионеры-герои погибли за всех остальных пионеров, то есть за коллектив. Сказать, что сплошная коллективная жизнь раздражала... Да нет, она не раздражает в подростковом возрасте. Как не раздражают вечное грандиозное «мы» и парадная пионерская форма. Раздражает другое — форма без содержания, фарисейство, игрушечность символов. Вот типичный пример. Во всех пионерских лагерях, особенно крупных, существовала такая вещь, как прощальный костер, который проводился накануне отъезда и являлся апофеозом всего лагерного периода. На «кострах» пели, танцевали, обменивались адресами, прощались и плакали, костры затягивались до утра. Существовала старинная артековская традиция — увозить домой и хранить уголек прощального костра как символ пионерского братства и память об «Артеке». Был ли у меня такой уголек? Был, конечно. Угольки в слюде, как и положено, нам раздали накануне отъезда. Только никакого прощального костра у нас не случилось — по каким-то причинам руководство лагеря решило его просто не проводить. Чувствовался во всем «Артеке» какой-то упадок сил, будто выдох после предыдущей помпезной международной смены...

Вот написала — официоз, построения, смотрю, но было, было даже в «Артеке» одно неформальное, непионерское мероприятие, где мы все отрывались по полной. Проходило оно два раза в неделю на том же стадионе, но это была самая настоящая дискотека — там я впервые услышала «Booney`M». Первое время на дискотеке крутили советские песни, но вдруг что-то произошло, и старшие отряды, «Селигер» и «Байкал», прекратив танцы, принялись скандировать и громко хлопать в ладоши: «БО-НИ-ЭМ!.. БО-НИ-ЭМ!.. БО-НИ-ЭМ!!!» Кто такие эти «БОНИЭМ», зачем их призывают, я по малолетству и отдаленности от столицы не имела никакого понятия, но было ясно: народ чего-то добивается, а значит, нужно поддерживать. К тому же это страшно весело — кричать и дружно хлопать. Через пять минут скандирование охватило весь стадион и продолжалось минут двадцать, гулко отдаваясь эхом по всему лагерю, руководство растерялось, советскую музыку выключили, а после паузы таки завели неизвестных мне «Booney`M». Я и представить себе не могла, что музыка может быть ТАКОЙ!.. Даже наши замученные вожатые — не представляю, когда вообще они спали — ожили на глазах и танцевали шейк где-то сбоку.

Там, в «Артеке», я впервые увидела «живого артиста», и не кого-нибудь, а Савелия Крамарова.

К пионерским делам главный комик СССР никакого отношения не имел — он приехал в Крым на съемки «Приключений капитана Врунгеля», своего последнего перед отъездом в Америку на ПМЖ фильма. А «Врунгеля» снимали на нашем пляже. За одну ночь у пирса выросла деревянная шхуна, а по шхуне в белом кителе важно ходил актер Михаил Пуговкин. Это сейчас российские дети мечтают о карьере, выраженной в денежных знаках, а у советских детей было две генеральные мечты — стать космонавтом (у мальчиков) и сняться в кино (у всех). Или хотя бы взглянуть на эти самые съемки. И вот кино буквально в ста метрах, мы отпросились у вожатого и даже захватили открытку для автографа. Вопрос: как его

получить?! «Беда» стоит рядом, все актеры — на ней, но на шхуну, естественно, никого не пускают, площадка оцеплена. Минут десять мы мнемся в сторонке, и понимая, что нас вот-вот хватятся, я объявляю, что пойду на корабль одна и разведу обстановку. У трапа, конечно, охранник — нет, охранников в СССР не водилось! — дежурный, он, конечно, меня не пропустит, а с палубы все куда-то исчезли. На мое счастье, вдруг появляется тот самый рыжий веснушчатый мальчик из «Ералаша». Помните рыжего мальчика из «Ералаша»? Мальчика звали Аркаша Маркин, и увидеть его живьем было все равно, что познакомиться с Волком из главного мультсериала страны «Ну, погоди!». Мы быстро знакомимся — мальчику Аркаше скучно без общения, и он говорит: нет проблем, позову Пуговкина. Через минуту нас окружает весь отряд «Севан», Аркаша и Пуговкин раздают автографы, объясняя, что сейчас у них репетиция, что съемки начнутся на днях, не такое уж это чудесное дело, и вообще они завидуют нам, которым не надо весь день торчать на солнце в костюмах и гриме. Когда Пуговкин уходит, охранник насмешливо замечает, что если уж брать автограф, так у Савелия Крамарова, и показывает нам на высокий парапет, где и вправду, как на насесте, сидит скучающий Крамаров — в кепке и плавках. Видя нашу нерешительность, охранник смеется: ну, подойдите, спросите: Савва, как поживаешь? Даже в этом смешке чувствуется, что Крамаров — суперзвезда, у него здесь особое положение. Все вопросительно смотрят на меня, и я снова отправляюсь на разведку. До парапета довольно далеко, приходится бежать, так как нас, скорее всего, уже ищут, а я, кстати сказать, председатель совета отряда. В «Артеке» эти председатели советов отрядов на фиг никому не нужны — общелагерные мероприятия наползают одно на другое, мероприятия организуют вожатые и инструкторы, но как без председателя? Нельзя. Подбегаю к Крамарову — тот дремлет сидя — и протягиваю открытку. «Савва» смотрит на меня так, точно это не я, а ближайшая к нему пальма заговорила

человеческим голосом, что-то бурчит в ответ, не разбираю, что именно, но посылаю: отстаньте. Получая открытку с автографом, задаю ему какой-то вопрос, но тут на нас налетают ребята и плотно окружают Крамарова. Натиск такой, что Савелию едва удается удержаться на своем насесте, и он просто сбегает...

Где-то в середине смены нас ведут на Аю-Даг, Медведь-Гору, и по дороге рассказывают легенду о гигантском медведе, который шел несколько дней, смертельно устал, лег у моря и окаменел. На вершине Аю-Дага, в ложбине, есть «волшебный горячий камень», и говорят, если сесть на камень и загадать желание, оно непременно исполнится. Про желание нас оповестили заранее, было время подумать, но скажите, пожалуйста, что я могла загадать, кроме мамочкиного заветного ИНСТИТУТА???

...После возвращения домой я начинаю неистово скучать по «Артеку», каждый день писать письма всему отряду «Севан», листать голубой артековский дневник и напевать артековские песни. Я и сама получаю в день штук по двадцать пять писем со всего Советского Союза, и почтальон, не зная, как запихнуть конверты в узкий почтовый ящик, просто складывает их в подъезде на подоконник. В письмах мы обещаем друг другу встретиться в Москве у мавзолея Ленина на Красной площади, кажется, после десятого класса. Через год и письма, и намерения рассасываются, но я до сих пор помню все артековские лица и все имена той августовской немеждународной смены. Когда приходит конец империи под названием Советский Союз, для меня это имеет вполне конкретное значение — ведь большая часть моего отряда «Севан» теперь живет за границей, и наша смена вполне может считаться международной.

А Мальчик? — спросите вы. — Мальчик Из Другой Школы, что с ним?

Мальчик Из Другой Школы вошел в историю моей жизни как первый и самый настоящий поклонник, что, признаться, по закону жанра я совсем не ценила. Но о Мальчике Из Другой Школы — чуть позже.

Глава девятая «Москва и москвичи»

Эту я не смотрю никогда. Какой смысл смотреть Москву в телевизоре, когда она и так под боком? В Москве живет мамочкина сестра Надя, к которой мы едем при каждом удобном случае, и без случая — тоже. Обычно случай назревает к школьным зимним каникулам, так как в это время меня можно сводить на Кремлевскую елку, где подарки дают не в полиэтиленовых шуршащих пакетах, как во всей остальной стране, а в больших пластмассовых игрушках вроде голубого царя-колокола или красной Спасской башни, полость которых до отказа заполнена сладостями. Разговоры о Москве начинаются осенью, когда подходит к концу колбаса, привезенная Надей летом во время отпуска. Колбаса держится дольше всех, месяца два-три, другие продукты — вроде глазированных сырков, тортов «Прага», баночной ветчины, икры и пачек сливочного масла — съедаются примерно за неделю. (Надя ежегодно приезжает к своей матери, моей бабе Нюре, и на время Надиного приезда бабушкин дом превращается в караван-сарай для всех родственников, друзей и соседей.)

Наша зимняя поездка в Москву строится исключительно из практических соображений: в холода не так опасно везти продукты поездом, к тому же закупать их можно в невероятных количествах. С этой целью со мной едут баба Нюра и ее сестра Антонина, которой «надо кормить и одевать трех мужиков». Баба Нюра, отрицающая все путешествия на свете по причине их страшной опасности и всю жизнь просидевшая дома, в Шарье, в Москву собирается деловито и даже спокойно, словно ей предстоит съездить на местный рынок. Поезд прибывает утром на Ярославский вокзал, и мы долго трясемся сначала в метро до станции «Беляево», а затем — в автобусе до улицы Островитянова. Надя с мужем только что получили двухкомнатную квартиру с двенадцатиметровой кухней (о таких размерах подсобных помещений в Шарье слыхом не слыхивали)

в новой высотке, и сюда регулярно приезжает вся родня с обеих сторон. Квартира на Островитянова (благодаря которой я не знаю, что такое московские коммуналки) была получена чудом, а именно, в результате визита американского президента Джорджа Никсона — траектория движения его кортежа прошла мимо тех самых старых домов, где жила наша Надя. Ради Никсона коммуналки быстро снесли, а всем жильцам дали отдельные квартиры — пусть в спальных районах, зато новые и с огромными кухнями. Кроме кухни, правда, здесь ничего нет — комнаты смежные, коридор крошечный, как в хрущевке, о кладовке забыли. Есть еще приличный балкон, которого я, как и лифта, опасаясь: квартира находится на двенадцатом этаже, и с этой гигантской высоты за лесополосой видна вся Москва. На балкон я стараюсь не выходить, но лифта миновать не удается, и я пытаюсь не думать о том, что будет, если кабина вдруг «оборвется» и полетит.

Как Надя осталась в Москве? Очень просто: как все, вышла замуж. Весь свой химико-технологический институт, МТИ, она грезилась о сибирских городах-миллионниках вроде Омска и Томска, но на пятом курсе вышла за москвича Сашу Федоренко, который года четыре уговаривал Надю стать его женой. Подозреваю, что все это время у мамочкиной сестры были другие поклонники и сумасшедшие любви, но не мне вам рассказывать, что происходит с сумасшедшими любовями, когда на них возлагают надежды, а Саша Федоренко доказал свою преданность — раз, происходил из хорошей семьи — два, обладал ростом один метр семьдесят пять сантиметров — три, был умен и снисходителен к людям — четыре. Вполне достаточно. Но существовало еще несколько плюсов: Саша, как и мой папа, следил за всеми книжными новинками и был, что называется, в курсе — пять, и главное — ради Нади он терпел все, включая частые наезды ее многочисленной родни... Когда я подросла и со мной стало возможно вести всякие женские разговоры, Надежда часто говорила, что мужа надо выбирать по принципу «зато».

— Как это? — спрашивала я.

— Ну, мой Александр Палыч — «зато порядочный и умный», — смеясь, отвечала она, — а папа твой — «зато талантливый»...

Семья Александр Палыча, которого мы, дети, обожали, потому что он всегда говорил со всеми — и с бомжом, и с академиком — уважительно и на равных, заслуживает отдельного разговора. Мать, Вера Ниловна Прозерская, — потомственная дворянка, дочь предводителя гимназий в Сувалках (сейчас это территория Польши). Отец, Павел Николаевич Федоренко, сын рабочего, родился в Николаеве и в пятнадцать лет по причине редчайшей в те годы грамотности служил писарем в штабе Котовского. Увлеченная идеями революции, красавица Верочка Прозерская знакомится в Одессе с Павлом, который после Гражданской войны становится комиссаром Всеобуча, влюбляется в него, опасаясь большевистского террора, отчество «Ниловна» меняет на «Николаевна» и остается с любимым. По моде тех лет брак свой молодые регистрировать не хотят, даже когда у них рождается дочь Зоя, и официально расписываются только шестнадцать лет спустя, после рождения сына Саши. В конце двадцатых семья перебирается в Москву, Павел Николаевич поступает в МХТИ имени Менделеева, Вера Николаевна — в экономический институт. Получив образование и став специалистом в области каучука и резины, Федоренко-старший много ездит по стране, делает карьеру на производстве и, в конце концов, оседает в главке резиновой промышленности в должности начальника лаборатории. Прожив вместе почти тридцать лет и избежав грозящих обоим репрессий, супруги разводятся, и на момент свадьбы мамочкиной сестры Вера Николаевна, Зоя и Саша проживают в той самой коммуналке, мимо которой проехал Никсон. Этот развод Саша с матерью переживают тяжело, и с тех пор вся любовь Веры Николаевны концентрируется на сыне. Думаю, ее мгновенная ненависть-зависть, вспыхнувшая к невестке, произрастала даже не из того, что Надя «из деревни», а значит, претендует на жилплощадь. «Эта девица»,

которой она неизменно говорила «вы», пришла и забрала самое дорогое, что по праву еще очень долго могло принадлежать Вере Николаевне, — сына. Жизнь в московской коммуналке со свекровью и золовкой, как вы понимаете, укладывалась в среднестатистический бытовой роман ужасов, но здесь я ограничусь одной деталью. Когда новорожденная Оля, дочка Саши и Нади, просыпалась и плакала, находящаяся тут же новоиспеченная бабушка Вера приходила на общую кухню, где стирала-готовила невестка, и сообщала: «Надя, ваша Оля плачет». С Зоей, напротив, отношения у Надежды сложились почти нормальные, точнее, никакие.

Во-первых, Зойка была старше на шестнадцать лет — другая возрастная категория, во-вторых, Зоя Павловна настолько была занята устройством личной жизни, что на войну с женой брата ни времени, ни сил уже не оставалось. Как все советские женщины, Зоя, экономист по образованию, конечно, работала, но главной ее деятельностью была Московская Светская Жизнь. Московская Светская Жизнь 60–70-х проходила в модных дорогих ресторанах, Домах Актера, Художника и Литератора, театрах, а также на квартирах детей крупных партийных чиновников. Для светской жизни требовались наряды и внешний вид — не знаю, как Зойка выкручивалась с нарядами, зарабатывала она, как все — а вот о фигуре Зои Павловны (грудь — пятого размера, талия — пятьдесят сантиметров) ходили легенды. Говорили, что Зоя ела, как птичка, и только с утра, а после светских ужинов, которые затягивались за полночь и о которых еще Грибоедов сказал «ешь три часа, а в три дни не сварится», всегда принимала слабительное... Первым мужем Зои, с которым она прожила пять лет, стал сын генерала Рыбка — от этого брака, проведенного в ресторанах, остались довольно приятные воспоминания плюс фамилия. Второй раз она вышла за однокурсника брата, который был моложе ее на шестнадцать лет, вел непонятный образ жизни и, отправляясь в «командировки», говорил: приеду либо на черной «Волге» (машина-мечта, символ крупнейшего успе-

ха), либо на «черном воронке». В итоге получился черный воронок, и муж надолго исчез из Зоиной жизни. После второго развода, несмотря на все усилия, личная жизнь никак не желала устраиваться, а на момент свадьбы брата и вовсе зашла в тупик: новые кавалеры, в которых никогда не было недостатка, долго не задерживались, а на горизонте замаячил первый «ужасный» женский юбилей — сорок. Зойка возвращалась после ночных кутежей домой и все отчетливее видела счастливую семейную картинку брата: мама, папа и ребенок, весело топающий по комнате. И однажды она поняла, что ей нужно делать... Бросив светскую жизнь, Зоя срочно занялась здоровьем — от многолетних голодовок у Зои Павловны наступил ранний климакс, гинеколог прописал гормональные препараты, но главное — нужно было определиться с потенциальным отцом. На попытки, предупредил врач, может уйти до пяти лет, поэтому ничего не оставалось, как разыскать бывшего недавно освобожденного супруга, закодировать его и начать действовать. Вытребованного у природы ребенка, мальчика Сашу, удалось родить довольно быстро, в сорок два, все его называли исключительно Сашенька.

На момент моего появления Сашенька исполнилось четыре года, и этот ребенок, как очень многие, явившиеся «по требованию», чтобы решить проблему одиночества мамы, с первых лет стал кошмаром семьи. В те редкие моменты, что я его видела, он беспрерывно капризничал, кричал и бегал по квартире, в которую переехали Вера Николаевна и Зоя. Из невыносимого ребенка, потребности которого наперебой спешили удовлетворить мама, дядя и бабушка, Сашенька превратился в трудного подростка, затем — в молодого человека без образования и с набором всех имеющихся вредных привычек. Раза три он поступал в институт, но дольше второго курса нигде не держался, начал пить, затем сел на наркотики. Женщины, которые, кажется, ежедневно менялись в его жизни, перестали его интересовать годам к тридцати пяти. К этому времени он не женился и продолжал жить

вместе с матерью, и об этой жизни с регулярным нанесением телесных повреждений знали все — соседи, милиция, мы... Жизнь-война между сыном и матерью продолжалась довольно долго и прекратилась только со смертью Сашеньки, и эта смерть — в сорок лет — оказалась ужасна. Как-то восьмидесятилетняя Зоя, которая к старости почти потеряла зрение, но не здоровье, позвонила Наде и сообщила, что сын несколько дней не выходит из комнаты, и она не знает, что делать. Когда Надежда вошла в Сашину комнату, пропитанную трупным запахом, Сашенька лежал на кровати окоченевший, и его лицо было темно-желтого цвета. Приехала специальная бригада, вскрытие не делали — труп почти разложился, но было ясно, что человек погиб либо от передозировки, либо от гепатита С, либо от СПИДа. Александр Палыч и Вера Николаевна, слава Богу, до этого не дожили...

Впрочем, я сильно забежала вперед, лет на тридцать. Возвращаюсь в начало семидесятых, на Островитянова, 43, где прошло мое детство. Обязанности во время наших зимних визитов у бабы Нюры и ее сестры Антонины были разграничены четко: бабушка готовит и водит меня по елкам, Антонина с сумкой на колесиках объезжает нужные магазины. И неизвестно, которое из этих двух дел тяжелее. Накануне каждой Кремлевской елки почему-то всегда ударяет лютый мороз, и мы с бабушкой, еле живые от холода, тащимся от станции метро «Библиотека имени В. И. Ленина» еще километра два, потому что возле Кремлевского Дворца съездов никакого метро нет. Вместе с нами, точно на демонстрации, движется толпа — с этой же целью. У каких-то очередных ворот солдат внутренних войск останавливает сопровождающих, и дальше дети идут одни еще примерно столько же. В огромном фойе мы раздеваемся и направляемся в гигантский зал, откуда сцена кажется маленькой, а люди на ней — точно мыши. Через полчаса начинается представление, разбавленное концертными номерами, куда непременно входят па-де-де из классического балета и выступление знаменитого хореографического

ансамбля «Березка». На мой детский взгляд, все это скучно, но я не могу не отметить профессиональности видеоряда: и мизансцены все выстроены, и костюмы актеров с иголочками. Все представление я гадаю, какой же на этот раз будет подарок, затем начинаются хороводы вокруг елки, но и там меня занимает только «картинка», а не само действие.

После главной елки Советского Союза мы тем же путем выходим к сопровождающим, которые замучились нас ждать за ограждением. Всякий раз бабушка боится, что мы с ней разменяемся, но этого никогда не происходит, и я быстро обнаруживаю ее в первых рядах. Дома меня ждет всегда одно и то же — заплаканная сестра Оля, которой, как в прошлом и позапрошлом годах, пришлось уступить мне свой билет (его Надин профсоюз выдает в единственном экземпляре), поскольку я живу в Шарье, «а ты москвичка, ты всегда успеешь». Мамочкина сестра Надя любит меня точно так, как если бы я была ее собственным ребенком, и, учитывая то, что я старше сестры Оли на целых пять лет, Надежда любит меня гораздо дольше, чем свою родную дочь. Ольга это подозревает и ужасно, до слез, обижается, что, впрочем, не мешает нам играть вместе целыми днями... Кроме Кремлевской елки, меня обязательно ведут на Таганку, в театр Маяковского, МХАТ, театр Сатиры и иногда — в цирк. Таким образом, мне удастся посмотреть чуть не все лучшие спектакли того времени, которые я потом с радостью узнаю дома, в телетрансляции. В театрах меня очень интересует буфет — пирожные могу съесть в невероятном количестве, и однажды жизнь меня за это наказывает. Съев в очередной раз полдюжины эклеров, я получаю такое сильное отравление с многодневной рвотой, которое раз и навсегда лишает меня доверия ко всем буфетам на свете.

...И конечно же, Красная площадь. Однажды, видимо, пресытившись театрами и наслушавшись в школе про «дедушку Ленина», я прошу отвести меня в мавзолей, и безотказная баба Нюра, конечно, ведет, мы выстаиваем гигантскую очередь и попадаем в небольшое, подсвеченное красноватым

светом помещение, в центре которого стоит гроб с мумией вождя, вокруг которого движется толпа любопытных. Из детских дворовых рассказов я знаю, что ученые намазали Ленина какой-то супермазью, благодаря которой он совсем не разлагается, но, правда, уменьшается ежегодно на сантиметр, и скоро от мумии не останется ничего. А значит, надо успевать. Дядя Саша над моим рассказом смеется и объясняет, что там и так давно ничего нет, кроме лица, волос и рук, которые всю ночь вымачивают в формалине. Войдя в мавзолей, я начинаю принюхиваться, но в том-то и дело, что запаха — нет. Ни формалинового, ни какого-либо другого. Прохладно, как в пещере, и без запаха, что очень странно. Потому что все помещения на свете имеют свой неповторимый запах. Например, больница пахнет линолеумом и кварцем, библиотека — высушим канцелярским клеем, почта — сургучом, метро — креозотом. Почти все места я помню сначала по запахам, и уже потом — по картинке. И только мавзолей не источает запах.

Итог зимних культурно-просветительных мероприятий почти всегда плачевен — к концу каникул я заболеваю и с температурой еду домой. Накануне отъезда из Москвы Антонина с гордостью демонстрирует нам свои трофеи: джинсы, рубашки, обувь, а также сетку апельсинов и полугодовой запас колбасы во всех видах. Все это упаковывается, пересчитывается бабушкой, и все повторяют: у нас столько-то мест. Когда я подрастаю, меня отпускают в местный гастроном одну, и я начинаю понимать наркотическую зависимость от московского шопинга[^]: даже здесь, в магазине спального района, есть всё: и сервелат, и фрукты, и сыр рокфор, и сливки в небольших треугольных пакетиках, и хлеб «Бородинский»... А еще в Москве существуют ВДНХ и кафе «Шоколадница», куда непременно ведет меня Надя. Что касается мамочки, то у нее своя, особенная Москва, куда она ездит только по работе, на усовершенствования и конгрессы кардиологов. Усовершенствования могут длиться по несколько месяцев, и на это время мамочка неизменно берет

с собой моего брата, который часто болеет и с которым она не может расстаться дольше, чем на один день.

Еще одна составляющая моей московской жизни — дача, которую собственноручно построил Надин свекор, Павел Николаевич, на выделенных главком резиновой промышленности шести сотках целины в Клинском районе. Павла Николаевича, бывшего писаря Котовского и комиссара Всеобуча, я помню высоким, подтянутым, очень собранным и очень спокойным. Я его немного побаиваюсь, как боятся всего чужеродного и неизвестного. Еще больше я боюсь его новую жену с гордым лицом, очень похожую на балерину-пенсионерку. На дачу эта жена, которую зовут — нет, вы подумайте! — Тамара Христофоровна, не ездит никогда, не приезжают и Зоя с Сашенькой, но зато всегда спешит Надя, а значит, и мы. Только благодаря моей тетке и дом, и огород принимают ухоженный плодоносящий вид, хотя непонятно, как это можно осуществить без машины и в трех с половиной часах езды от квартиры на Островитянова. Впрочем, дачу любит одна Надя — Александр Палыч ее ненавидит всем сердцем, вместо Покровки зовет Хомутовкой, но тем не менее таскает ради жены на себе гигантские рюкзаки с овощами. Здесь, на даче, меня настигает еще одна мировая знаменитость — хоккеист Валерий Харламов. Хоккей в Советском Союзе — один из главных брендов, а Харламов — звезда. Дача Харламовых — небольшой деревянный дом голубого цвета — стоит напротив нашей, но я, как назло, с Харламовым никогда не совпадаю: вижу жену, вижу тещу, а его — никогда. Через несколько лет Надя рассказывает об ужасной катастрофе на Ленинградском шоссе, в которой погибли и Валерий Харламов, и его жена Ирина. «Представляешь, — говорит мне Надежда, — за секунду до столкновения он как нападающий понял, что через мгновение все разобьются, и выбросил Ирину из машины, но выбросил неудачно, и она все равно погибла под колесами». У Харламовых остается двое маленьких детей — мы часто их видим с бабушкой,

тещей Харламова. Дача в Покровке до сих пор принадлежит этой семье.

Иногда на «хомутовскую» дачу заглядывают Надины подруги, Вера и две Галины, и разговоры с ними — самое интересное. Подруги находятся в чудесном женском возрасте — от тридцати до сорока, что гарантирует мне вечные темы о «главном». Кажется, у всех подруг есть или были мужья, которые объелись груш, и теперь на рассмотрении новые кандидаты. Некоторых мне даже показывают. Одна из Надиных Галин работает в самом лучшем в Москве месте, которое находится на Краснопресненской и называется Центр международной торговли. Сходить к Галине на работу — Надина подруга там возглавляет химчистку — все равно что взять и шагнуть за границу. Центр международной торговли — это гостиничный комплекс-городок в одном большом здании, где есть все: от лучших ресторанов и концертных залов до службы быта и конгресс-холлов. Коридоры и фойе здесь представляют собой засаженные искусственными и живыми деревьями «улицы», повсюду бьют фонтаны и светит необычный свет, а по одной стене ходит скоростной прозрачный лифт, который может выезжать на крышу. Здесь, на улицах Центра, я впервые увидела фешенебельных московских проституток, скучающих в просторных фойе, а однажды оказалась в ночном баре, едва не упав в обморок оттого, что в качестве живой музыки здесь работает группа Стаса Намина, которая в конце семидесятых была настолько популярна, что пару лет даже затмевала «Машину времени».

Вот это ощущение молодости, изобилия, возможностей — моя Москва семидесятых. Здесь есть место мечте и надеждам, а главное — времени, которое, конечно же, работает на меня и, как я думаю, состоит сплошь из будущего. Здесь, в столице, по моим ощущениям, есть все, и, набегавшись по театрам и ресторанам, хорошо остаться одной в пустой московской квартире, пока все на работе, поставить пластинку вошедшего в моду Булата Окуджавы и слушать песенку про Арбат.

Окуджава — первый советский бард-звезда, с которым до сих пор многое непонятно. Понятно, что его аудитория отнюдь не народ, а только интеллигенция. Понятно, что, если поставишь пластинку на проигрыватель ради одной песни, все равно будешь слушать обе стороны до конца, хочешь ты этого или нет. Понятно, Окуджава легко поется кем угодно, в отличие, например, от Высоцкого и Пугачевой. Все остальное — неясно. Как однажды сказал Вознесенский, у нас появился странный поэт: стихи обычные, музыки никакой, голос посредственный, все вместе — гениально. Кажется, ближе всех к секрету Булата Окуджавы подобрался Дмитрий Быков, назвав его амбивалентные стихи «рамками» и «магнитными ловушками», притягивающими многочисленные, порой противоположные смыслы. И у каждого этот смысл свой.

Чем старше я становлюсь, тем чаще приезжаю в Москву — Надя все время на работе, и мы с Ольгой целыми днями вдвоем. Большинство из москвичей, как моя тетя, живут на окраине, работают в центре, а это значит, на дорогу в один конец уходит полтора-два часа. Фабрика крашения мехов, на которой сорок пять лет прослужила наша Надя сначала главным инженером, а затем директором, была для мамочкиной сестры тем, чем для мамочки — больница; о новых технологиях и новых результатах Надя может говорить часами, как мамочка — о доказательной медицине и современных схемах лечения. Иногда, если мы идем в театр, я заезжаю к Надежде на фабрику, и меня даже могут провести по цехам, где, как в сказке про Конька-Горбунка, стоят котлы кипучие, и из них валит пар. Постепенно Надя как специалист обрастает кругом особых клиентов, состоящих из актеров и жен партийных чиновников. Им всем нужно что-то красить и чистить, и в благодарность они приносят билеты на лучшие спектакли Москвы, о которых Надежда рассказывает с горящими глазами. Впрочем, она все умеет делать с горящими глазами — бежать на работу, готовить манты и харчо, за вечершить модную кофточку.

А еще нашей Наде доступно то, что почти для всех советских людей остается за семью печатями — поездки за границу. В семидесятые, когда все в лучшем случае едут в Сочи, мамочкина сестра ежегодно отправляется то в ГДР, то в Чехословакию, а однажды — страшно выговорить — в круиз по Средиземноморью. Дочка Оля каждое лето проводит в Шарье, и если Надя за границей, нас ждут особенные подарки, из которых в памяти остаются фирменные пакеты с картинками и английскими буквами и тонкая жевательная резинка. Точно так же, как дети, этим жвачкам радуются взрослые, и нас заставляют делиться. Отчего-то заграничными не восхищается одна мамочка — ведь только она знает, что они каждый раз ставят Надину семью «на грань развода». Когда Надя сообщает мужу об очередном путешествии, мягкий, добрый, безобидный интеллигент в седьмом поколении Александр Палыч приходит в бешенство, бежит по квартире с вытаращенными глазами и кричит, что домой Надя может не возвращаться. Та кивает, уезжает и возвращается, происходит неизбежное примирение, и так — до следующей поездки. Как всем руководителям, моей тетке выпадают и заграничные командировки, на которые муж реагирует точно так же, что не мешает нашей Наде с советским паспортом объездить весь мир. Со временем я догадываюсь, что дело здесь, конечно, не только в поездках. Однажды нас с Надей везет в магазины «Лейпциг» и «Ядран» какой-то ее знакомый Володя военного вида, и разговаривает она с этим Володей «особенным, домашним» тоном. Позже я узнаю, что Володя военного вида серьезно ухаживал за мамочкиной сестрой и даже делал предложение, но Надя, поколебавшись, все-таки отказала.

Связь между мамочкой и ее сестрой — крепкая, пылкая и многолетняя; мамочку Надя боится пуще родителей и советуется всегда только с ней. У мамы же, в свою очередь, и подруг, кажется, нет, кроме младшей сестры. Как своего ребенка, мамочка любит Надину Ольгу, а Надя даже одно время была молочной матерью моего брата. Симметрично, так же, как сестры, дружат наши с Ольгой

отцы, и мой папа, который всегда на стороне Александр Палыча, больше всех борется с заграничными свояченицы и теплеет к ней только тогда, когда Надя делает окончательный выбор в пользу семьи и в сорок два года рождает второго ребенка. Отец, как и я теперь, понимает, что любимый всеми нами Надин муж — фигура, несомненно, трагическая, так как женился и всю свою жизнь прожил с женщиной, которую любил безответно. И эта трагедия — не единственная, и может быть, даже не худшая, — так как вторая была связана с делом его жизни.

Александр Палыч родился в семье потомственных, вошедших во все энциклопедии химиков (со стороны матери), а когда химией серьезно увлекся и его отец, вопрос о выборе профессии Саши Федоренко вообще не стоял. Беда в том, что склонности к этой химии юный Саша не имел никакой, а обожал, напротив, историю, поражая знаниями всех попадавшихся на своем пути преподавателей. Когда он слабо заикнулся о поступлении на истфак, дома был страшный скандал. Втихаря, только чтобы проверить себя, Александр Палыч подал документы в МГУ на исторический, поступил, но учиться не стал и отправился на семейный химфак. В МХТИ Саша Федоренко выдержал очень долго, аж до четвертого курса, потом махнул на все рукой, бросил институт и устроился на работу в один из московских «почтовых ящиков». Талант, если он настоящий, не дает человеку покоя ни днем ни ночью, и промучившись в «ящике» лет пятнадцать, Надин муж отправился в МГПИ Ленина на заветный истфак. Диплом, который в итоге написал Александр Палыч, был приравнен к кандидатской диссертации, чем наш дядя Саша был счастлив, как ребенок. Преподавать он, конечно, не стал, устроился в архив (где его обожали все «девочки»), опубликовал несколько известных среди специалистов научных работ, в том числе биографию Махно. Биографию Махно ему, правда, пришлось брать у жены с боем: Надя тогда была беременна Колей, до рождения ребенка требовалось срочно сделать в квартире ремонт, а муж, кажется, первый раз в жизни, проявил невиданную

прыть и наотрез отказался отвлекаться от Дела Жизни, мотивируя это тем, «что ваш ремонт на х.. никому не нужен, а с биографией Нестора Ивановича Махно я попаду туда, где мне и положено быть — в историю». Так оно и случилось. Но если бы не свинцовая жесткость родителей, если бы он поступил на свой истфак вовремя, если бы смог заняться наукой... Если бы... если бы... если бы...

Как и мой отец, после шестидесяти Александр Палыч тоже включает программу самоуничтожения; ему даже и пить для этого не нужно, достаточно отсутствия желания жить. Он и раньше-то был меланхоликом, а теперь и вообще разучился радоваться. Как-то летом мы традиционно собираемся

всей семьей в Шарье, и среди детского гама и беготни (мы выросли — носятся моя дочь Аня и Надин сын Коля) я натыкаюсь на такую картинку: возле журнального столика за бутылкой водки и нехитрой закуской, самими, видно, организованной, молча сидят Александр Палыч и мой отец, и я вдруг отчетливо понимаю: прощаются, вот это — их последняя на земле встреча. И действительно, сначала умирает мой папа, а после — от рака кишечника — Надин муж. И опять я застаю женскую часть семьи сидящей после похорон, и мы, словно из пазлов, пытаемся собрать-вспомнить жизнь Саши Федоренко, но вспоминаются почему-то лишь биография Махно и то, как Александр Палыч любил нашу Надю.

¹ Райисполком (РИК), районный исполнительный комитет — местный орган государственной власти в СССР.

² ^ — слова, отмеченные таким знаком, в описываемый момент не употреблялись.

³ СЭС — санитарно-эпидемиологическая станция.

Андрей Мансветов

Вода течет сквозь меня



Станция «Белый кит»

Всё засыпано пеплом, будто совсем зима
или кончил сжигать письма, черновики
отношения с миром выяснены, не сходи
лучше купи билет до станции Белый [...] кит
говорят, где-то такая есть, где-то
на запасных
говорят, электрички и дети знают туда
маршрут
вот и езжай, пока не поймёшь, что ты уже
тут
поймёшь до последнего знака после всех
запятых

спрыгнуть на гравий, если июль, и вот
оно — правильное ощущение лета после
дождя
главное, совершенно не важно, кто здесь
и как живёт
главное, что не обидят и не навредят
надпись с затёртой буквой, привязанная
коза
обязательный алкоголик в засаленном
пиджаке
водокачка, полторы улицы, речка. что тут
ещё сказать
не думаешь, проворачивая ключ в висячем
замке

и губу закусив
перегрызть удила
если корабль доплыл
по ручью до угла

3.

перечитай облака так
как разнимает ладонь
глаз хироманта на
можно по потрохам
по кофейным остаткам
знак
можно смотреть в огонь
если уже война
чёлн, чтоб нечеловек
кто ходил по воде?
солнце коснется век
но ты уже нигде
но ты по нотам, но
Ною простится все
когда под ногами дно
яблоней прорастет

Хоронили домового в печи
отпевала домового сова
сквозь потрескавшиеся кирпичи
прорастала дурная трава

раскатали избу по бревну
протоптали иван-чай до земли
из колодца вынули глубину
оборвали цепь, ведро унесли

я ночью в бане сырой
я пишу по саже на потолке

сквозь осколки в небе — месяц дырой
и идёт-бредёт бычок по доске

он качается, он спит на ходу
боковая верхняя до Читы
дом, в который я однажды уйду
пусть ещё побудет пустым

Или ты убоился зла, или тебя зло
так тебе везло, как воду везёт вода
и всегда от того, когда обломал весло
до самого снега, белого как борода

Угодника, ты ему молился по семь часов
и ещё по семь повторял имена живых
тех, что были, выли, скучали, тратили соль
не умея слов от дна и до синевы

жарким был жерминаль, и твой лёд не таял,
кипел
как кипели в горних просторах бои за нас
ты молился так же почти, как Иисус терпел
а потом жевал предрассветный кровавый
наст

в тот ли год, где тебя от жизни волок тягун
ты встречал плоты на далёкой Обве-реке
ты из ям земных добывал небесный чугун
и небесная дева встречала тебя в платке

ты построил скит, или лодку, отсюда мне
не достать ни взглядом, ни памятью, ни рукой
только всякий раз, как кипит котелок
на огне
я почти уверен, что знаю, кто ты такой

Катерина Гашева

14 февраля



— День и ночь — это очень просто. Днем светло. Ночью темно.

— Днем тоже темно, когда льется вода и стучит, — сказал Индеец.

— Все равно это день, потому что до этого была ночь.

Индеец почесал голову. Он был озадачен.

Глеб был рад, что все удалось объяснить. Глеб считал себя умным. У него на все находился ответ. Не всегда сразу, но находился.

Глеб и Индеец дружили с самого просветления. Про «дружили» тоже понял и объяснил Глеб. А Индеец почесал голову.

Так все началось.

Сегодня Глеб был встревожен. То есть сначала он понял, что нужно взять это, и это,

и еще разных, главное, чтобы верх и низ не одного цвета. Вместе они называются «цветы». А потом их отдать Ей. Не Индейцу же отдавать. А Ей всегда бродила неподалеку.

Глеб подошел и сунул цветы Ей под нос.

Ей посмотрела, принялась и скусила самую яркую головку. Прожевала, сморщилась, потом больно стукнула Глеба по уху и еще долго гналась за ним, что-то выкрикивая. Если бы у Глеба было больше времени, он бы разобрал слова. Но надо было спастись, и он спрятался в трубе. Ей за ним не полезла. В подземелья не боялись соваться только Глеб, Индеец и Фуфыврик, которого съела потом большая круглая штука.

Теперь Глеб сидел и думал. Индеец помогал, но отвлекался, чтобы есть.

Индеец — вегетарианец. Он ест траву, яблоки и мышей. Мыши — это овощ. Странный овощ, но Индейцу нравится.

— Эй, не ешь, когда я с тобой думаю! — сказал Глеб.

— Прости, очень хочется, — Индеец закинул пищащий овощ в рот и быстро прожевал. — А ты все равно думаешь не туда.

— Я туда думаю! — разозлился Глеб.

Он вытащил из ящика с дверью розовую тряпку с блестяшками, порылся еще и вынул кусок серой бумаги.

— Вот, смотри.

— Смотрю.

— На буквы смотри!

Индеец поморщился. Как читать, они с Глебом вспомнили одновременно, но Индеец буквы недолюбливал. Однажды снаружи он нашел круглый лист, в котором было написано «СТОЙ», и простоял, пока не пришел Глеб. Дорогу к этому месту они завалили, чтобы больше не попасться в ловушку.

Но сейчас Глеб был рядом, и Индеец стал читать.

— «...нении смертельного вируса не подтвердились».

— Стой! — Глеб отдернул газету, посмотрел и перевернул.

— «14 февраля. День влюбленных отмен...».

— Круто! — сказал Индеец. — А что это?

— Не знаю, — вздохнул Глеб. — Но в этот день все в восторге! Особенно девушки. И все вырезают сердечки. Дальше оторвано, и я не понял.

— Сердечки вырезают? Ты же знаешь, я не люблю! — Индеец зло покосился на газету.

— Люди были странные, — успокоил его Глеб. — Но мы не будем вырезать сердечки...

— Может, куриные и у мышей тоже что-то есть, — пошел на попятную Индеец.

Глеб кивнул и замолчал. В его правильном мире сейчас красота, птички и бабочки порхают. Все ходят, как хотят. Ей ходит ни в чём, и это круто. А когда Глеб спросил, не холодно ли так ходить, Ей не стала бить его в ухо и кусаться, а ответила, что ей так нравится.

Он рассказал Индейцу про бабочек и про Ей. Индеец почесал голову. Бабочки ему понравились. Особенно если окажется, что это овощи. Как мыши.

Ей индеец не одобрил, сказал, что она глупая и нарушает общепринятые нормы поведения. Что это за нормы, он не знает. Он нашел их в книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Люди интересуют Индейца, хотя их больше нет. Индеец умный, потому что вегетарианец и у него есть книга.

У Глеба тоже есть книга. «Семейные ценности в воспитании детей 3–7 лет». Он читает каждый день и думает про слова. Некоторые линии даже повторяет про себя. Вчера он прочитал линию: «направленная на формирование мотивационных основ материнства». Линия ему понравилась.

Просветление пришло не сразу и не всем. Фуфыврик помнил, что до просветления был Ужас. А еще до того везде жили люди, про которых читает Индеец. Люди были странные, они ездили на машинах, летали в небе, а еще зачем-то ходили на работу. Фуфыврик не ходил и не мог рассказать, зачем они это делали. А может быть, у него что-то пошло не так с просветлением. Рассказывал же он, что жили люди не в подземельях, а в «домах». В дома Глеб и Индеец залезали, но там неудобно и страшно. Можно упасть с большой высоты через дыры в стенах. Их Фуфыврик называл «окна», а потом его съела большая круглая штука.

— Надо посоветоваться с Ки, — вдруг говорит Индеец.

С ним бывает. Он не умеет, как Глеб, понимать любые слова, зато иногда знает, что делать. Глеб думает, это потому, что Индеец однажды чуть не съел книгу. Не ту, которая про людей, а другую. После Ужаса Индеец «очнулся» с ней в зубах. На вкус книга была такой противной, что он тут же ее выплюнул. Книга раскрылась на словах «Мировоззренческая функция — это особая реальность». Тогда он очнулся совсем. И сейчас он прав.

— Точно, — говорит Глеб. — Надо посоветоваться с Ки. Как я мог забыть!

На самом деле Глеб помнит про Ки. Просто ему не хочется. Ки — это далеко. Это по мосту, где тоже можно свалиться с высоты. И вообще, пока доберешься с этого берега, где живут они с Индейцем... мало ли что случится. И вода.

Глеб очнулся рядом с водой. Где — точно не помнил. Помнил рыб. Как они мелькали плавниками, пробивали поверхность острыми клювами, уходили в темную глубину и снова возвращались. Дымный шар солнца висел в небе, и вода делалась блестящей. Глебу было жаль рыб, жаль, что они не могут бросить свою воду и выбраться на твердые надежные камни. Рыбы странные, они живые.

Эта мысль взволновала. Живые! — как люди когда-то.

— Пойдем! — тянет Глеба за руку Индеец. Он уже собрался. В одной руке книга, в другой маленькая круглая штука с овощами. Овощи пищат и скребутся.

Глеб берет свою книгу и открывает. Новая линия: «культивируемая в обществе совокупность представлений о семье». Он читает вслух. Индеец чешет в затылке, замирает, чешет еще раз.

— Надо идти, — наконец говорит он и первым лезет в трубу.

Глеб вкладывает листок с 14 февраля в книгу и лезет следом. Это значит «культивируемая в обществе».

«14 февраля. Я должен устроить 14 февраля...» — думает он, когда они лезут через мост. Далеко внизу плавают живые рыбы.

— Может, не будем? — спрашивает Индеец, оборачиваясь. Он тоже боится. — Я слышал, бывает день независимости или де... монстрация.

— А что такое демонстрация?

— Не знаю, — Индеец нервно зажевывает овощем.

— Вот видишь! А надо 14 февраля.

И они ползут дальше. Впереди самое страшное место. Огромная дыра, которую надо обползать по самому краю. Из-за дыры на мосту всегда пусто. Глеб с Индейцем заглядывают за край. Внизу беспокойно ходит туда-сюда поверхность воды. Вода тоже была живая.

— Рыбы не видно, — делает вывод Индеец.

— Высоко. Такая, чтоб видно было, тут не водится, — объясняет Глеб, а про себя думает, что откуда-то знает, что рыбы бывают не просто большие, а огромные.

Шар наверху укатился за тучу и стал пятном, когда они добрались до приметной лестницы, нижний конец которой терялся в гигантских лопухах. Они спустились вниз и обнаружили, что прямо на тропе лежит пузом кверху маленькая девочка и болтает ногами.

Индеец потянулся почесать в затылке, но передумал. Из-за самого крупного лопуха, оплетенного ползучим плющом, выглянула голова мамы с длинными, утыканными репейниками лохмами. Дети с мамами — это теперь редкость, почти не встречаются. Повезло Ки.

Путники присели рядом с девочкой.

— «Мы говорим о кризисе цивилизации, бездумном отношении к природе, отсутствии моральных ценностей в обществе. Как это изменить? Только воспитав новое поколение, которое сможет это новое общество построить!» — быстро проговорил Глеб подходящую линию.

А Индеец добавил:

— У тебя ребенок. Мы пришли. Его зовут Глеб, а меня — Индеец. На нашем берегу нет детей.

— Меня зовут Ли. А дочку никак не зовут.

Она принялась и выбралась из зарослей целиком. На ней обнаружилась оранжевая фуфайка с удивительным словом «ПЕРДОРСТРОЙ» на груди.

— А вы куда? — спросила Ли подозрительно.

Индеец развел колени в стороны и ткнул пальцем в Глеба

— Он ищет 14 февраля. Знаешь что-нибудь?

Ли подумала.

— Нет, не знаю. Может, оно тут и не водится. Я бы знала, я много охочусь.

Девочка, увидев, что мать не собирается обратно в заросли, тут же залезла к ней на колени и вцепилась в волосы.

— А я вегетарианец. — Индеец на всякий случай прикрыл голову руками.

Он очень гордился тем, какие светлые и длинные у него волосы.

— Повезло. А я не могу, она много ест, — Ли кивнула на дочь. — А еды мало.

— Мы не охотимся, — заверил ее Индеец. — Мы ищем праздник.

Ли посмотрела на них недоверчиво.

А Глеб из разговора выпал. Рядом — он это знал — текла река. Большая. Он понял, что большие реки текут с гор. И тогда они бурные и злые. Что такое горы, пока не важно. А кроме рек есть озера и пруды. И есть море, но оно другое и далеко. И оно соленое, вроде, так показалось.

— Я не знаю. Я с праздниками не знакома, — решительно сказала Ли и сощурилась. — У вас есть еда?

Глеб и Индеец побежали, спотыкаясь. Упав в третий или четвертый раз, Глеб вспомнил, что такая дорога называется железной, а квадратные штуки поперек — шпалами. Вскоре дорога нырнула в дыру, почти такую же, как их, домашняя, только много больше.

Тоннель — понял Глеб. Где нет света, это тоннель.

Тоннель зарос плющом, и там бродили тени. Индеец на бегу озирался по сторонам и свистел. В ответ из темноты тоже свистело. Спереди быстро приближалось светлое пятно выхода. И внезапно стало страшно. Глеб остановился и огляделся. По сторонам ничего, только плесень и паутина. Тогда он поднял голову вверх и увидел. С потолка на него смотрела огромная-огромная нарисованная рыба. Глеб почувствовал, как к горлу поднимается комок жутости. Что это? А еще там в углу за трубами? Еще одна.

— Ты чего? — спросил Индеец.

— Страшно... — Глебу показалось, что потолочная рыба шевелит плавниками.

— Не... — отмахнулся Индеец. — Темно только, и бежать надо, а то к Ки не успеем.

Глеба вдруг отпустило. И чего он боялся? Может, проголодался просто? С ним такое иногда случалось. Так ели же недавно.

На выходе из тоннеля они спугнули птицу. Она взлетела, захлопав крыльями и закрипев, как ржавая железзяка

— Видел! — восхитился Индеец.

— Улетела.

— Ага. Вот бы тоже... летать. Как люди.

Глеб не ответил. Он думал о железной дороге. Сколько бы они ни шли или даже ни бежали, все равно рельсы не кончатся, будут тянуться вперед.

— Глупые люди делали, идти неудобно, — прокомментировал Индеец. — А если не надо прямо, то вообще...

— Тсс, тихо!

Индеец застыл. Глеб лег и приложил ухо к рельсу. Ему вдруг почудилось, что идет электричка. Что это и как определить, он пока не знал, но по ощущениям все сделал правильно.

Всю оставшуюся дорогу Индеец пытался выяснить у Глеба новые смыслы, но тот отмалчивался. Его личный мир раздвоился. Вот он тут, идет с другом к Ки, и одновременно вокруг много горящих лампочек, ползет зеленая гусеница поезда, и рыбы.

К приметной трубе, которую глупые люди зачем-то задрали в небо, так что по ней совсем нельзя ходить, они добрались к закату. За трубой начинался «ЗАВОД МАШИ». Огромные красные буквы криво торчали над воротами. В обе стороны, на сколько хватало глаз, тянулся серый забор с ржавыми колючками сверху.

Небо быстро темнело.

— Не успели, — сказал Индеец, — где мы искать его будем?

Ночь была похожа на кошку с желтыми глазами.

— Ки! — закричал Глеб. — Ки! Мы пришли!

— Слышу! — раздался голос, от одной из людских машин, стоявших за воротами, показалась голова. Волосы на ней были собраны на макушке в метелку.

— Слышу. Чего пришли?

В городе мало кто не знал Ки. Он был старше и умнее всех. И очнулся даже раньше Фуфыврика. И конечно, его не съела большая круглая штука. Ки сам бы ее съел, если б захотел.

Ходили слухи, что Ки своими глазами видел все безумие, творившееся до Ужаса. Видел, как люди и еще человеки убивали друг друга и ели. Видел, как разучились ходить, как лакали жадными языками воду из луж. А потом совсем забыли всё и умерли.

Ки окинул гостей недобрым взглядом и пукнул.

— Мы спросить хотели, — заторопился Глеб. — Что такое есть 14 февраля? Нам очень надо.

Ки пукнул еще раз.

Над веточками потянулся дым и показались язычки пламени. Сегодня Индейцу долго не удавалось придумать костер. Устал потому что. Вокруг было совсем темно. Где-то плескалась рыба. Ки сидел в кресле и наблюдал, как гости суетятся. Когда огонь стал ярким и большим, он, наконец, кивнул.

— Очень хорошо, — сказал Ки. — Про 14 февраля я не знаю. Чувствую, что это было важно для людей, да. Вы дали мне газету, значит, важно. В газетах только про важное писали.

— Это вообще когда было? — спросил Глеб.

Ки замолчал, закрыл глаза и захрапел.

Глеб и Индеец посидели молча, подождали.

— Как думаешь, он собирает свою внутреннюю энергию, чтобы проникнуть сквозь время и рассказать нам, как все было на самом деле? — спросил Индеец.

Глеб пожал плечами. Ему упорно заглядывала в глаза ночь, а он пытался не смотреть туда, где она сидит.

— Ладно, — сказал вдруг Индеец. По его лицу плясали тени и блики огня. — Хочешь, кое-что расскажу?

— Давай, — согласился Глеб.

— Я когда первый раз очнулся, у меня книги не было. Зато я съел кого-то. Такого же, как я. Маленького. Как люди эти, пока не вымерли. Очнулся, смотрю, а я ногу грызу. Я испугался, вот и все.

— Что все?

— Вот и стал вегетарианцем.

— Надо поспать, — сказал Глеб после паузы. — День будет опять...

В небе взошла большая круглая штука, от которой кто-то, может быть Ки, откусил почти половину. Света она давала немного, но наводила на всякие мысли. И сама, наверное, думала. Но у нее не было рук, чтобы поймать маленьких, лежащих у костра. Она могла только смотреть.

С этой мыслью Глеб заснул, и ему приснилось, что он, стоя на четвереньках, гложет маленькую ногу, а на это с ужасом глядит Индеец. Глебу стало стыдно, он дернулся, нога выпала, и сон кончился.

Было светло. Индеец еще спал, положив руку под голову. Кресло Ки пустовало. По небу тащило крупные пухлые облака. Но облака не любили ходить порознь. Раз пришли на небо, обязательно затянут все вокруг.

За спиной раздался плеск, как будто река за ночь подкралась совсем близко. Глеб обернулся и успокоился. На крыше машины в нескольких метрах от него стоял Ки и увлеченно мочился в сторону города на другом берегу. Наконец струя иссякла, и Ки обернулся.

— Хороший день, — сказал он.

— Облака, — сказал Глеб осторожно. Он очень уважал Ки, но вдруг тот просто не увидел.

— Все равно. Иди-ка, я расскажу, что надо сделать, чтобы получилось 14 февраля.

— А как же Индеец? Он спит, его нельзя будить, вдруг он не вернется к телу?

— Ты ему расскажешь.

Ветер развеивал волосы Ки, и Глебу казалось, что они живые.

Ки начал:

— Когда я спал, я спросил у себя, как быть тебе в этой ситуации, что сделать, чтобы получилось 14 февраля? И я ответил себе. Плыть. Вам нужно переплыть реку. И тогда 14 февраля придет.

Глеб вздрогнул.

— А если не доберемся? — осторожно спросил он.

— Не переплывешь, и 14 февраля не будет. Так я себе сказал.

Индеец у потухшего костра дернулся и открыл глаза. Глеб сидел рядом и смотрел в небо.

— Ки ушел?

— Ушел, — ответил Глеб. — Тебе не снилось, как я ем ногу?

— Нет. Вообще ничего не снилось. А что сказал Ки?

— Нам надо переплыть реку, и тогда все будет. И 14 февраля тоже.

Индеец засомневался, но быстро взял себя в руки. Сказал только:

— Я плавать еще не пробовал ни разу. Ты думаешь, мы справимся?

— Придется. Иначе никто не услышит про 14 февраля, никто не будет в восторге.

— Когда плывем? — Индеец принял решение.

Река намурилась, и небо тоже. Гром разлетелся по округе. Друзья вышли к воде. Они справятся. Они принесут миру 14 февраля. Хорошему миру, где больше нет глупых людей. Правда, нет и много чего еще. Но это не важно. Главное захотеть, и все получится. Всегда все получается.

Глеб думает про слова и понимает смысл. Индеец думает о костре, и костер загорается без всяких дурацких спичек. Индеец даже не знает, что такое спички и зачем они нужны. И так со всем и со всеми. Когда хочется есть, появляются фрукты и овощи. Или всякое другое, разное. Самые глупые, те, кому не досталось просветления, едят друг друга. Кто-то вообще не ест, просто бродит и думает. Но не говорит ни с кем. Или, как Ки, сидит у трубы и помогает.

Если хочется ценностей, хоп, и вот они. Правда, Глеб не разобрался, что с ними делать. Потом разберется. Главное, что человечества, которое было, хоп, и нету. Перестало быть проблемой. Или просто забыло, что такое люди.

Последнюю мысль Глеб запомнил, но додумывать не стал. Потом. Все потом!

Он погрузился в холодную воду по пояс, потом по грудь. Он знал, что надо двигаться, иначе утонешь. Он начал перебирать руками и

ногами, выходило не очень хорошо, но какая-то сила уже тащила его от берега. Он повернул голову. Индеец тоже плохо, но плыл.

— Я забыл книгу! — крикнул Индеец. — Как я теперь бу-ду!

— Ничего, потом... придем за ней!

— Но я же... про людей еще не все...

Они пылили, как могли, по-собачьи, по-человечьи. Глеб чувствовал, что небо смеется над ним быстрыми улыбками голубых молний.

И хлынул ливень, и стало непонятно, где верх, а где низ.

Глеб закрыл глаза и пошел ко дну.

Глеб стоял на остановке и злился на нее. Девять, нет, уже девять ноль пять, а обещала в половине. Вечно она опаздывает. Февральский слякотный город жил своей обычной жизнью. Гудели машины, намертво впаянные в вечернюю пробку, люди торопились, кто домой, кто по делам, бежали под моргающий глаз светофора. Кто-то кому-то махал в толпе.

Вечер. 14 февраля. Глеб закурил и плотнее запахнул букет полой плаща. Если бы пришел без цветов, она бы обиделась, это точно.

— Огоньку не дадите? — раздалось над ухом.

Глеб обернулся. Перед ним стоял улыбающийся парень со светлыми волосами.

— Держите.

— Праздник... Как перед войной! В газине ничего нет... даже спичек.

— Держи зажигалку. У меня запасная.

— Спасибо!

Пошел снег. Мимо прогрохотал трамвай. Цветы под плащом, наверное, совсем съжились.

И тут появилась она. Она бежала и размахивала сумочкой. Глеб выплюнул сигарету и пошел навстречу, улыбаясь. Вся злость и все раздражение делись куда-то, как и не было их.

14 февраль все-таки.

Река вливалась в уши, нос, рот...

Некролог

Альмира Зебзеева

Бесстрашная душа

Памяти литературного редактора Надежды Николаевны Гашевой



14 мая ушла из жизни Надежда Николаевна Гашева — литературный критик, редактор Пермского книжного издательства, заслуженный работник культуры РСФСР. Она была первым редактором произведений таких писателей и поэтов, как Виктор Астафьев, Лев Давыдычев, Алексей Решетов, Леонид Юзефович, Алексей Иванов и многих других. По просьбе «Вещи» главный редактор Пермского книжного издательства Альмира Зебзеева написала о жизни и творчестве своего многолетнего друга и коллеги.

Вся жизнь Надежды Гашевой была напоена и пропитана хорошей прозой и хорошими стихами. (С существенной оговоркой: ага, а сколько словесной макулатуры довелось ей пропустить через себя за эту жизнь, чтобы отсечь бездарное и безграмотное и опубликовать подлинно достойное и ценное.) Высокая мера вещей, литературный вкус прививались и воспитывались не только в студенчестве, изысканной филологической школой отменных педагогов Пермского университета, не только каждодневной издательской практикой, но изначально, в первую очередь — книгами, которые читал им с братом отец.

Николай Павлович Пермяков был сугубым технарем, инженером-строителем, математиком и шахматистом. И воином: прошел фронтами Великой Отечественной, был тяжело ранен. Он был человеком той породы, в которой ответственность за свое сугубо техническое дело, стремление к точности и определенности формулировок и поступков тесно переплелись с тонким чувством родного слова, восторженным удивлением перед фактом безупречной лирической поэзии или совершенной прозы. Николай Павлович торопился прочитать детям всё, чем не уставал наслаждаться сам. Он, кстати, и внукам читал «Войну и мир», когда Ксюше было всего девять. Может быть, оттуда сегодняшнее бесстрашие драматурга Ксении Гашевой перед классикой любых объемов и любой стилистики: не случайно так отважно и чутко она инсценирует для театра Гомера и Астафьева, Гари и Войновича, Шукшина и Иванова.

Вот так же бесстрашно читала в юности своей Надежда Гашева собственные стихи. На фотографии в сборнике «Княженика» (1968) она такая, какой была в ту молодую пору, — с сигаретой в руке наотлет, увлеченная внутренним ритмом стиха, который еще горяч на губах:

*...Шаги — измеренье комнат.
Шаги — измеренье планет.
Еще ни одной знакомой
Тропки на свете нет.
Но что для тебя запреты,
Искорка мятежа?
Коль сложена, да не спета —
Песни не удержать.
...Корабль да буря,
Любовь да пуля —
Дороги мужчин круты.
Костер да поле,
Простор да воля —
Кто,
если не ты?..*

Поэма называлась «Бунтари». И в самой Надежде клокотал мятеж, бунт, вызов. Это была единственная ее солидная поэтическая публикация. Да, кажется, и последняя. Она будто разом обрубила и отрунула потуги стать поэтом-профессионалом, окончательно приняв иное назначение, избрав для себя иную форму жизни в литературе. Она стала редактором. Она стала издателем. И вот тут достигла подлинно профессиональных высот.

Судьба книгоиздательского дела в Прикамье — а ему давно пошел третий век — складывалась самым загадочным образом, и была тьма причин тому, что отдельные его периоды оказывались тусклыми и безлики, а другие вспыхивали сиянием ярчайших протуберанцев. Конец 1960-х, 1970-е, начало 1980-х — эти годы, несмотря на жуткую централизацию книгоиздания в стране, предельную идеологизацию всего и вся, обернулись для Пермского издательства плодотворнейшим творческим взлетом, который сделал пермскую книгу в ту пору таким же, как сказали бы сейчас, культурным брендом Прикамья, как балет и деревянная скульптура. Книжные миниатюры, поэтические малоформатки, библиотеки и серии отечественной и зарубежной классики составляли славу Перми, выводили ее на уровень одного из самых интеллигентных городов страны. За очень многими из этих славных явлений стояла Надежда Николаевна Гашева с ее безупречным литературным вкусом и необъятным кругом филологических знаний. Вот, например, уютные стихотворные томики, составившие убедительную и чрезвычайно удобную для пользования библиотеку. Они выходили

(и расходились!) сотысячными тиражами — по две книги в год, по тому из русской поэзии века XIX и XX. Надежда Николаевна конструировала ряды славных имен, формировала массив каждого сборника и к каждому писала вступительную статью. Эти статьи по объему равнялись справкам-аннотациям, но по содержанию, емкости информации, красоте и точности определений были законченными эссе.

Составлялись цепочки книг, заставляющие ценителей ждать и караулить выход каждой следующей, и отдельные сборники, завораживающие оригинальностью идеи и выразительностью подачи. Вот, например, одна из последних (по времени существования издательства) серий — «Домашние вечера». Вышло четыре тома, но каких: «Детвора», «Призраки», «Пойман с поличным», «Канитель» — удивительные тематические подборки рассказов и коротких повестей классиков мировой и отечественной литературы. И опять не просто подборки: каждое издание продумано от вступительной вклейки иллюстраций «из времени» до цепляющих внимание цитат на входе в книгу, и, конечно, умная филологическая аннотация, определяющая место жанра, как острова, в океане литературы. Надежда Николаевна и сама купалась в классическом материале, и с царственной щедростью умела его интерпретировать и преподнести. Однако просветительская линия в ее редакторской деятельности сполна позволяла самовыражаться, но не была главной. Главным было живое участие в том, что рождалось на глазах. Перед провинциальным (в территориальном смысле) издательством всегда стоит задача развития местной литературы. Вокруг него клубится круг маститых и начинающих авторов, на стол редактора каждый день ложатся рукописи нескончаемого «самотека». Любой признанный писатель ждет отзыва редактора-первочитателя на свое новое творение так же нервно, как литератор-неофит, впервые переступивший порог издательства. Порадоваться успеху, искренне погоревать над неудачей, подсказать выход, показать, как поддержать «шатающуюся» конструкцию, как сделать выразительней и чище стиль — роль Надежды Николаевны в этом процессе была неоценимой. Ее вкусу доверяли все.

К ней тянулись всегда, с ней хотелось и возможно было разговаривать не о житейской ерунде, а о высоком — о том, что больно, или о том, что дорого. По душам о душе. И вот что закономерно. В университетские и послестуденческие времена у нее были замечательные собеседники из очень даже старшего поколения — в основном из поколения ученых. Филологи Сарра Яковлевна Фрадкина, Римма Васильевна Комина, Соломон Юрьевич Адливанкин, профессор-историк Лев Ефимович Кертман и многие другие сначала были преподавателями, а потом оставались друзьями. Они, несомненно, влияли на ее мировоззрение, наращивали мускулы ее эрудиции, но и сами искали общения с нею, словно в этих разговорах и спорах, на оселке ее живого молодого ума оттачивали и проверяли градус собственной убежденности и убедительности. Ее дарили своей дружбой Лев Иванович Давыдычев и Алексей Леонидович Решетов. Они дорожили ее доверием, а она не уставала поражаться неожиданности и непредсказуемости подлинного таланта. И так же закономерно стала притягательной личностью Надежды Николаевны для поколений последующих — для тех, кто только ступил на путь служения литературе. В 1970-е годы Гашевой опрометчиво предложили вести на родном филфаке творческий кружок.

Писатель Вячеслав Запольских вспоминает:

— Она не учила нас писать стихи или прозу. Она погружала в тот еще не совсем разрешенный и частично запретный мир отечественной поэзии, художественных и политических идей, который в 70-е годы был немножко приглушенным. И из-за этих разговоров ей отказали в руководстве творческим кружком. Это не помешало нам продолжать общаться — у Гашевых дома или в кафе...

Так и было. Прямая в оценках, честная в своих суждениях, она разговаривала с молодыми как привыкла — бесстрашно и безоглядно. Они интересовали ее не только и не столько

как дарования, сколько как личности. Ее кружковцы становились писателями и поэтами, да так и оставались друзьями дома. Как оставались друзьями этого дома многие из тех, кто с ее помощью когда-то выпустил свою первую книгу. Нежна и тепла была дружба с Ириной Христоробовой, с Анной Бердичевской, сегодня московским издателем, с Семеном Ваксманом, замечательным геологом и талантливым писателем, с Алексеем Ивановым, чей первый роман вышел именно в ее редакции. Став признанным и маститым, он трепетно ждал ее отзыва на каждую новую свою книгу...

Гашевы в Перми — имя значимое. Это клан филологов, влияющих — каждый по-своему — на культурную составляющую жизни края: журналисты, ученые, литераторы. Вот уже и третье поколение — внучка Катя — уверенно входит в литературу. Но, как выразился в одной из своих публикаций Юрий Беликов, Надежда Николаевна — «может быть, самая именитая из Гашевых. Многолетний редактор Пермского книжного издательства, пестовательница дарований, гремучая смесь Зинаиды Гиппиус и Жорж Санд!»

В конце 1990-х не стало государственного издательства-монополиста, но не угасло издательское дело в Перми, и все последующие годы Надежда Николаевна продолжала это дело с привычным тщанием и профессионализмом. Нередко уже при участии дочери Ксении, ставшей ее правой рукой. Среди множества выполненных ими работ — такие значительные, как многотомная (к сожалению, незаконченная) библиотека «Пермь как текст» по проекту Алексея Иванова, возвращенные из небытия книги русского коннозаводчика Якова Бутовича, новые романы Юрия Асланьяна, «Антология традиционного фольклора народов Прикамья», удостоенная краевой премии за лучшие работы в области культуры, и многие-многие другие замечательные, заметные и замеченные работы, подготовленные и выпущенные в лучших традициях пермского книгоиздания.

В последние годы литературные тексты в доме Гашевых звучали уже не как прежде, по вечерам, для общей радости, а почти непрерывно с утра до вечера. Надежда Николаевна их слушала, потому что отказали глаза. Она получала иное, новое впечатление от давно знакомого, угадывала в нем новые и новые оттенки — и наслаждалась. Она остро реагировала на все, что происходит в стране и мире, оставалась умным советчиком друзьям-литераторам, деятельно участвовала в творческих делах дочери, переживала за судьбу внучки.

В очерке Лидии Чуковской о Бродском есть такие строки: «Интеллигенция, не утратившая бескорыстия и бесстрашия мысли. Ее мало во всем мире. Но она все-таки есть. Она ничего не может переменить — в настоящем. Мир движется своими путями, двигаемыми не ею. Но все плодотворное — от нее: эстафета культуры передается ею. Она постоянно разбита на голову — и всегда победительница»¹. Надежда Гашева была подлинным интеллигентом. И всегда победителем. Бойцом, бескорыстным и бесстрашным: живой и умный взгляд, сигарета в руке наотлет, горячая речь, горячая душа.

Проводив Надежду в последний путь, перед живым, молодым ее портретом поставили рюмку, накрыли хлебушком... И печальное возражение пришло на ум: увы, слова Лидии Чуковской о победительности подлинной интеллигентской природы — только красивы. Есть сила, которая, увы, одолевает любого, будь он стократ жизнелюбив и стоек. Но вот ее нет, а ты всё говоришь с ней и говоришь... И друзья признаются в том же. Значит — что? Вот именно.

¹ Лидия Чуковская. Процесс исключения. М.: Эксмо, 2007. С. 634.

Денис Быков, Владимир Бекметьев

Оправдание не за горами

Краткий путеводитель по книгам «Ошибка препятствия» Руслана Комадея и «Недужный падеж» Владимира Бекметьева



Редакция журнала «Вещь» попросила Владимира Бекметьева написать рецензию на поэтическую книгу екатеринбургского поэта Руслана Комадея «Ошибка препятствия». В ответ был прислан текст, который мы публикуем без изменений ниже. Жанр его определить трудно — диалоги в духе Платона? — собственно как и поэтику двух уральских поэтов. В этом и состоит его ценность.

Сцена 1.

Л1 и Л2 сидят на рельсах: «тупик». В отмахе от комариного жужжания поездов. В приоритете обсуждение каракалпакского авангарда. Л2 открывает чемодан, который заполнен бутылками вина. Он достает хрустальную рюмочку, откупоривает одну бутылку и наливает в рюмочку. Опорожнив её, он думает, наполнить ли ему ещё одну, но в итоге, изобразив мучение на лице, припадает к горлышку бутылки. Хрустальная рюмочка падает в грязь. Идет дождь.

Л1. (с надеждой): Опять?!

Л2. (промывая рюмочку под дождем): Спокойно. Всего лишь «лобзание оптической мозоли». (Смотрит через рюмочку на небо) Облако... оно похоже на верблюда. Нет, на ласточку. Или это кит?

Л1.: Да, мы всё так же «под открытым небом, где всё, кроме облаков, переменялось»¹.

Л1. (задумывается, декламирует): «Недужный падеж» — все в названии [как бы вынесенном за рамку], словно рука, протягивающая мелочь в маленькое окошечко кассы. Неведомо кому и куда. Настоящее время для поэзии Владимира Бекমেетьева² — это площадка или, если угодно, среда для наложения на нее изощренной лексики, лексики-ошибки или языка-сырца.

Л2.: А... новая книга. Погоди. Новая, Руслана Комадея³, книга-ошибка (?) — название: «Ошибка препятствия». Ты говоришь о среде, предположим — «обитанье опада» (так у В.Б.) — падаль-дерево в лесу, ещё живчик традиционно, заметный (припадает к мохнатой дорожке лишая на сосне; моховине; в особенности к грибным гармошкам) благодаря чему? — с п о р а м более древним, чем само дерево! Размножить на бумаге несколько горстей опада — цементировать барочный дом тишины. Знаешь, что Кейдж говорил о грибах?

Л1.: Они праотцы, отцы тишины?

Л2.: Царственные уплетатели мусора. Похоже на вид Homo Baudelaire. Но... отвлекся. В стихотворении «АД» Р. К., конечно, первоочередно (перед прочими телами, грузами, груздями, обрезями) всплывает бакен-посвящение А. Драгомощенко, представителю «принципиально бездомной поэзии», как писал М. Ямпольский. «АД» — стихотворение открывается видением места посредством заикающейся оптики: «Где то за одуванчиками лежала ракетка. Решётка. / Мне не видно, цела ли сетка».

Объект определяется через отсутствующую функциональность (решётчатую, как выяснит взгляд, нисходя на строку). Йодированная разметка-ожог взгляда, беспощадная отдача — чему? — перфорированной оптике автобусного окна в жаркий день. Событие прорастет через три строчки трюеточий восклицанием (!). Прорубается голос. Анабазис⁴ Швейка. Ха, и знаешь, я рискну: предположить о том, что это дионисийская калиптика⁵, возникающая из «вуалирования бездонного, и даже подсознательного, архаически-хаотического, приводящего в панику».

Л1. (ухмыляется): Да уж, очень своевременные плетения.

Л2.: Но послушай. Оправдание не за горами. Итак, примером апофатической⁷ природы калиптики по О. Ханзен-Лёве является сказание о греческом художнике Тиманфесе из Кифноса, «который старается изобразить жертвоприношение Ифигении, показывая при этом не лицо жертвы, а реакцию окружающих близких <...>, покрывающих лицо вуалью, таким образом апофатически показывающих невыразимость боли от потери дочери или любимой». Уже мы лиц не обрели.

Итак, попытаемся расковырять скорлупу плеоназма, препятствие — колыбель ошибок — ошибка, оспаривающая препятствие. Препятствие для побега? «Побег от лица З.» Заболоцкого? Бегут бездомно, не называя имени. Бегут бездомно через лес. Бездомно = лес.

Стягивание прибавочных имен (в стихотворении «Самое Место» (*nowhere*) — 0 (*нулевое платье*) — это дерзну говорить-не-могу о («неисполним облик», «как тебя записать?»):

свет сердоболен
место опустошённое
заводь горя
преждевременное зеркало
повторные территории
узники глаза
отделены
лёгкое воскрешение
трепет без права голоса
лестница по воде

Л1. (*перебивает, бормочет*): Вяжущее, невнятное проговаривание каталога твердых и сухих материй с запинками и лакунами является следствием глубокого аффекта, так же как и заикание не дефект речи, а аффект языка. Это своего рода смешение футуризма, лагерной прозы и кондового фольклора на маленьком пятачке памяти, выбирающее для себя фатум родной среды, перед которой блекнет богатство окружающего мира: «Изначальная каверза веры: / отсутствующий привязан к месту»

Л2.: Но это всё похоже на прыжок-веры-через-скакалку. Рекурсия. Топонимическая флелляция. Двусмысленно. «Прощание пришпилено к месту» — у Р. К. «Локальное проявление бесконечности языка»⁸ — вставил бы А. Бадью. Локальное проявление в одышливой песне, стремящейся поименовать истину посредством слабости, в беге (сингулярно) с препятствием: «Назовем это препятствие, на которое она [истина] наталкивается, *неименуемым*, тем чему истина не в состоянии дать никакого имени»⁹. Начальные условия «Ошибки» — «Побег от лица 3», «Самое место», «Я-Имя», «Дневники дыр» декларативно хмелеют в посткатастрофической (не)мощи (игра-в-статусный-недуг? крушение известкового обелиска?). Патическая¹⁰ неудача, гнездящаяся в складках синтаксиса — письмо Р. К. страстно, несомненно! — оглушенные болванчики экспрессионизма, выхлестом именуют Мир и прячутся в пазухах (мМира?) — обрекающее себя на страдание (послеопытно) действие. Здесь катастрофичен быт — так мы, так мы и мы погибаем-воскресаем в патине вещей последних. В доме о-хрупленного различия, доме чти-тишины.

Л1.: Отстутствие для мира ради замыкания на собственной среде (эпиграф из Г. Нарекаци в стихотворном цикле «На Чужбину»: «Я дом — но он покинут и забыт»), которая единственная является естественной и открытой для веры, веры в откровения этой среды. Ее форма представляется предельно сжатой и обладающей немногими перцептивными и активными свойствами, однако «скудность среды является гарантией для действия»¹¹. Но слова в этой среде ничего не плетут, как часто говорят, слова скорее опадают пеплом и пылью на ежесекундно рождающийся мир.

Л2.: Мир Р. К. не сжатие, а наоборот — разверстка. Экспансия себя на мир. Своеобразна: «я работаю в школе / почти не угадывая детей / как мне попасть в человека / если где цель?»

Л1. (*продолжает*): В стихах В. Б. часто встречаются такие слова, как падальник, падаль, падь, падеж... постоянное опадание. И вновь, уже про себя: недужный падеж. Время образа зафиксировано в трех ипостасях: *срыв, полет, падение*. Порою падение продолжается, перед



телом образуется яма, а за ней еще одна, а за ней трещина, из которой пробивается сухая трава, гербарий, растение, неспособное ни поникнуть, ни расцвести, не способное умереть, ибо уже мертво: «Сквозь сухостой лошади несут мертвеца».

Л2.: Хм, хорошо: *срыв, полет, падение*. Падение, но жанр путеводителя в криптоатеологическом регистре (например, «Itinerarium Mentis in Deum»¹² Св. Бонавентуры) ассоциируется с восхождением (ἀνάβασις). Конечно, через череду спотыканий, препятствий, ошибок! Путеводители наших героев — это нисхождение? Да, у В. Б...

Л1. (*перебивает*): Мертвец кристаллизуется, затвердевает, превращаясь в песок и камень, разложение — его первое рождение; падение — его катафазис¹³!

Л2. (*возбужденно перебивает*): Да, у В. Б... Катафазис. А как же свидетельство веры? Помнишь эпизод из «Сокровища Рейнских Друзей» И. П. Гебеля — «Нежданное свидание»? В. Беньямин уделяет ему внимание в «Рассказчике». Ожидается горняцкая свадьба, она соединит двух влюбленных навеки, и тут шахтер гибнет, смерть — анонима, м á л о г о; верность его невесты — безмолвной свидетельницы — длится на протяжении многих лет: однажды тело молодого жениха извлекают из шахты невредимо законсервированного под воздействием железного купороса — тогда умирает и она. Событийная плотность, цепной ряд важнейших исторических событий, по-своему катастрофических, размещен и спаян между жизнью и смертью, любовью двух людей, горняка и его невесты.

Рассказчик-хроникер опирается на идею спасения, и его истолкование не являет нам чёткую последовательность событий, история проявляется как диалектический образ, совмещающий события в их значимости. Что это как не насмешка над исторической = казуальной (пусть прогибаются под это равенство!) закрытостью.

Л1.: Это — поэтика твердого вещества. Ее антураж представляет собой темный второй этаж барочного дома, с бесконечными сгибаниями и вкладками одного в другое, в непрекращающемся коллажировании неживых образов: «барочные своды в прицельной обметке — темны».

Интенсификация мира с помощью слова происходит в мистически-бытовом ключе — «Соседи вешают птиц, кто-то ест старое яблоко-падальник», в похмельном фокусе обреченности, и приходит к своему тупику, который и есть та пресловутая трещина в породе, вывернутая наизнанку, словно лайковая перчатка. «Недужный падеж» ищет свой локальный эсхатон¹⁴, стремится к концу и находит его между строк, находясь под давлением стенок своей барочной шкатулки. И здесь локальное предстает самым общим, судьба окружающего взламывается инструментом поэзии, то есть словом.

Л2. (*горячно*): Да, но тут дело не только в свидетельстве, а в вере, дело в отмене зубастой истории, воскресению вопреки «ритмичной регулярности смерти». Барочный, барачный дом вот-вот упадет, *падет* на нас снегом белой эсхатологии. Будем надеяться.

В *сердцевине* (?) книги Р.К. пульсирует «Путеводитель по дням» — куртуазная закладка в «Ошибке» — во Имя < *maîtresse* >. Придется ограничиться диахроническим чтением: «объембый», сокращенный до-чти-пепла, пудь-литеры в духе старика Малларме. Домовитость разъята («домой мимо» / но всё же: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ПОВЕРХНОСТЬ; НЕНАГЛЯДЕТЬСЯ — ДОМ ДНЕЙ»), расчислена на: округу; квартиру; комнату; окна («окно в железных оправах»); прозрачное копошение омонимичных соседей («выскабливать содержимое из соседей: буквarez/ плодник/ дневной жук»), кладбище (*sic!*).

Срыв, полет, падение. Путь-водитель в ино-земное преломлен — «поддержанная вертикаль» — представим ребячью & чердачную лестницу (поэма давно снует по черной лестнице; хлам вносят на руках, орудийно), на которой в сломе ступенька не нижняя, опрокинутая шажком, но — верхняя — искусом подъема. Вертикаль слева — и где место поэтического субъекта — дурной вопрос. Дурной вопрос? «Для столпотворения одного». Но заметь — где место самодержца (*maître of language*) в междуцарствие, престольную стужу и смуту?! Пошлаки уже язвят: «Ошибку» отличает онтологическое вопрошание. «Ошибка препятствий» предъявляет нам — «хозяйственного, бесхозного» — субъекта. Конечно, поэтическая субъективность всегда находится на службе, до сих пор медиумальна, качели неизбежны: через поэзию говорит либо божественное, либо социальный класс, либо поэтическая, гражданская традиция.

(*Задумывается, закуривает, прокашливается*) «Поэтическая субъективность начинается с необитаемого места», — говорил Дж. Агамбен. «Служилый» (*pre-Robinson*) в эпоху романтизма выброшен к осознанию — поэт — это тот, кто не имеет эго, «это Другой», тот, кто постоянно разомкнут и собирает себя (?). М. Де Серто, говорит о том, что перемены Нового времени, нарушающие ситуацию Божественного порядка, в котором каждому человеку полагалось определенное место в организации космоса, вынуждают индивида становиться «замкнутым субъектом», определяющим своё место в универсуме самостоятельно, в том числе и в языке. Язык в такой ситуации уже выступает не как сумма метафизической неисчерпаемости, а пространство, которое подлежит строгому межеванию и контролю со стороны власти. М. Де Серто напрямую связывает запись закона-языка с телом, машиной письма, которая «превращает индивидуальные тела в социальное тело».

Вернемся к А. Мальдине? (то есть мы возвращаемся к пассивности-аффективности), то есть это то, что изумляет [*sur-prenant*], являясь как формы молчаливого зова, в принятии которого «старый мир раскалывается, возникает момент неуверенности, в котором здесь-бытие подвешено над пропастью события»¹⁵. Его переживания даны нам смутно,

мы описываем их уже постфактум — выходя из ситуации, а не будучи готовой к ней, приступая с «фабричным» поэтическим арсеналом.

По мнению другого французского пост-феноменолога Марка Ришира, поэзия, хотя и использует ресурсы обыденного языка, но всё же её цель — деформация, разлом в укрепившемся тексте закона. Поэт нарушает стабильность системно закрепленного слова. Как говорит М. Ришир, участие в поэтическом творении «предполагает особую форму контакта с собой», в которой, слушая собственную речь, поэт выступает и как подлинный свидетель всеобщих смыслов.

Л1. (*просыпается*): ... локальное предстает самым что ни на есть общим, судьба окружающего взламывается инструментом поэзии, то есть словом. В. Б. приходит к выводу, что инструмент этот, как правило, непригоден, он ломает и корёжит этот мир. Его среда — это его личный набор инструментов, разной степени негодности. И он то и дело обходит свои владения с гремучей котомкой ржавого хлама. «/Вся речь уже не та/» — проскальзывает в уплывающих скобках, словно рекламный текст, уведомление, бегущая строка.

Л2. (*перебирает в руках обрывки билетов, вырезки из газет про выкорм кролей и пищалей, цитаты из потрепанного*): Безусловно, прагматика сломанных орудий (ну вот, «17 еРУндовых оРУдий» И. Терентьева: «Когда нет ошибки, ничего нет») отсылает нас к историческому авангарду. Это может служить упреком! «Момент великой апостасии¹⁶», — переориентируем слова П. Клоделя на наши отроги. Кризисный (судный) момент всё (и ещё 100 лет) стучит в темечко: все орудия непригодны. Входим в Сад Поэзии (прости за ПАТОС). Кто-то предпочитает собирать конденсат с парниковой пленки, кто-то выращивать архаическую репу под пластилиновым солнцем и поклевывать (поклепывать) < лирную гладь > (некоторые не гнушаются и консервацией <пищинок> в банке). (*Заглатывает ещё пинту кедрового пива.*) Фабричное = фермерское. План, выпуск, тираж. Награды сельскохозяйственных и промышленных ярмарок.

Сцена 2.

Комната Л2. На веревке сушатся вещи, капли звонко падают в жестяной таз, в печке трещат поленья. Комнату заволочло дымом. Л2 ходит, покачиваясь от выпитого им вина, то и дело натываясь на разбросанные по полу бутылки.

Раздается негромкий стук в дверь, Л2 не слышит и продолжает петь и пританцовывать. Стук становится громче, в дверь колотят. Л2 суетится, пытается собрать бутылки, но они вываливаются из рук, он срывает с веревки вещи и бросает их в угол.

Л1. (*шепчет из-за двери*):

Срыв: бешено струящиеся потоки воздуха захватывают (ressentir) тело, приступно искушенное культурным надсадом.

Полет: здесь проходит первая трещина, первая бороздка рассекает ссыхающееся тело. Первая изумленность события.

Л2. (*шепчет в ответ*): *Падение?*

Л1. (*закуривает, привалившись к косяку снаружи*): Открывался новый сезон, мы шли по влажному лесу, и он показал мне те деревья, на которых раньше висели птицы: «Хвосты, опущенные в этот хаотический бульон, питали их, а они питали мир. Удавка сама собой не накинется,



ее нужно желать. Катастрофа в том, что они не увидели юмора, там ведь изначально было не «соседи», а «жиды». Жиды вешали птиц. Кто пустил к нам зараженных крыс? Вспомните «Суд короля Наваррского» Гийома де Машо. Я об этом».

Л2. (*распахивает дверь, с задором говорит*): Ага, Митрополит Евлогий (Георгиевский) вот такой... анекдот описывает. Вместо курицы ворону ощипанную в чёрный мешок подсунули, на обед. Ладно, не важно, дружище. Что ты принес?

Л1. (*отдает Л2 шкатулку*): Откроешь потом! Прошу. Будь добр! (*Задумчиво разглядывает разбитые бутылки и разлитое вино.*) Так... так-так... *vinum apostatare facit etiam sapientes*¹⁷... ну что ж, мне пора. И сбрей свои усы, ну не идут!

Л2 открывает шкатулку и обнаруживает в ней конверт с сургучным поцелуем и сухим сердечным желудочком. В конверте сообщение:

Срыв

<и делай так, как тебя учили>

Отчаянная центростремительность, где периферия — это сама жизнь, это разложение и дробление, растягивающее структуру, делающее ее аморфной и вялой. Жизнь для В. Б. — это сон, усталость от бьющего отовсюду света, производящего выгорание интенсивностей.

«Отвергнутый
плевком в кущи:
к истомленной сердцевине местности
в † «страдающий полдень души».

Предпочтительнее то, что А. Мальдине называет бытием-к-смерти, отмеченное изначально Хайдеггером: «как только здесь-бытие выполняет [ouvre] набросок возможности своей собственной невозможности, долг оказывается оплачен и забыт¹⁸. Однако — замечает он — это не имеет ничего общего с самоубийством. И правда, это убийство всего того, что вне себя, вне собственной среды, уже успевшей напитаться этим «вне» и сжать его в архив.

Полет

<и так тебя починили>

Барочные осколки, истеричные зазубрины как следствие сепарации (Ференци), являющейся событием не менее травматичным, чем насильственное вмешательство непредставимого.

[случением детств,
мимикрией под кухню-ку влагу, мокрицей на занавес пред
истории; экскременты птиц, опавшие сережки берез
от зимы лета ищущие /ягели, кручи, травы ползучие —
конволют-олёненок — звучит вол жуёт луч за луч,
сноп пробирает/ звери посмеялись и падают «замертво»,
т.е. подражая горемыкам в яме, «защитная окраска сред»:
за кухонкой — сникшие коридоры, за окном — вьюга;
глаз-врътоградъ, снующий без тулова путает стулья,
падает стук, Сулико, на котором...]

Субъект поэзии В. Б. зарывается в лохмотья связей в поисках нового непредставимого, где его тождество разбивается вдребезги и собирается вновь в вольном порядке. Но и в каждой новой инкарнации это также он сам, выпрыгивающий на поверхность с левинасовским «вот я, мне же вопреки».

Падение

<и это тоже причина>

Он сам никуда не идет, не хочет, он тогда только, когда «отсутствующий привязан к месту», он сгребает всё к себе. К нему идут. Вы можете доехать до остановки «микрорайон Железнодорожный», перейти через дорогу и спуститься к заброшенной железнодорожной станции. В одном из ангаров будет играть музыка, твердая и чистая, вы ее обязательно услышите, там же будет поэт, читающий недужный падеж пьяной скороговоркой, сходной с глоссолалией в сектантских экстатических практиках.

ны-ы-ну
га-галка
на-нары
ангары
нарјала

Это и есть настоящий авангард, его сомнение — «вся речь уже не та», его пик, достигаемый с помощью аффекта, его топология ржавчины и пьяных ягод. Поэзия В. Б. — это, безусловно, поэзия катафазиса, превращающая неудачу смысла в нечто позитивное, переживающее свое последнее насыщение.

Л2. (с самодовольной ухмылкой): Тоже мне удивил. Пёстрый школяр PR-а.

Л2 снова заглядывает в шкатулку, проводит рукой по ее стенкам, стучит по ним и обнаруживает полость, вскрывает стенку шкатулки и достает еще один конверт. Разворачивает конверт. Читает:

Постметафизическое бодание Р.К.: (как писал ещё Кьеркегор: «чем пышнее сооружение метафизики, тем менее оно пригодно для жилья») между *признанием* (бессильностью перед метафизической дистанцией, корняющей синестезические сцепки, распротёртые покрытия: /Как часто потрепывая / «покрытие», «покрываюсь», / ни одного прикосновения, /нахожусь в комнате после лет, / окрылённый пылью / внутри наблюдения) & *оргастическим кружением* мифологии-микрологии (пыль андрогинизирована: «из случайный слов прикоснувшихся / возник пыль»). Пыль & Пыль. Морфа & Морф. Приходится согласиться с мыслью Д. М.Хардта: «Метафизика в любом своем выражении есть попытка создать внутри тотальности иерархию, которая будет умерять *турбулентность различия*, ставя плотину *аллювиальной мощи становления*»¹⁹.

Негативная поэтика (-)цветет исповедальной die niemandrose (Розой Никому) в таких текстах Р. К., как «Ни на каком языке», «Я выкрасил [молоко]: вор», «Пятна останшися», «Я [вт]оричен».

Мы можем расценить дальнейшие стихотворения («АЙДА», «КАДРЫ РЕШАЕМОСТИ») как намазывание неудобоваримых приправ на апофатический хлебец: «имена_просты, как же из_них сложит, каюсь: я получил ключ и открыл потерю»; «в зубах знание всохлыхнув»... Исповедь, согласно Оригену, есть естественный акт, в отличие от греха (грех в данном случае — излишество) — факта противоестественного, исповедальное очищение, опрощение,



подобно извергающейся из желудка неудобной пищи. «Материя, будучи телесным свершением, предстает собой свершение словесное», — манифестируется в книге С. Зассе «Яд в ухо», описывающей различные типы инверсий конфессиональной исповеди в литературную.

Л2. (*смурно бормочет*): Ну уж разошёлся... (*продолжает читать*). Случайные, пылающие — но — видимые слова — *vebra visibilia* — это возносящийся (*полет*), но удушающий рой опада (*падение*), забивающий изнуренными тельцами прорехи исповедальной архитектоники. В этом затоне в первую очередь водятся такие поэты, как В. Ломакин и С. Уханов, гетерогенно закидывающие в сакральный жар блаженство похаб. Например, у Уханова: «слова бьются / пошлые еженощные буквы / гарантий оснований нет», у Ломакина: «Пишет чёрными буквами книга/ Не жить тебе во святой иконе: / Золотая коморка кровью зальется». Днюющие *vebra visibilia* у Р.К. превращаются в обценную морфо-требуху... Автор честен? До предела?

Свечи тускнеют. Л2 падает на разлагающийся топчан. На старую сатиновую занавеску выпрыгивают две хитрые тени: мужская и женская. От шурупания Л2 просыпается и видит, что в дальнем углу сидит человек в костюме, закинув ногу на ногу, неподвижен. Мягко улыбается. С полки падает и разбивается кувшин с красной густой жидкостью. Это отвлекает Л2 от человека в углу. Л2 снова смотрит в угол и находит там только стул, на котором сидел незнакомец.

¹ Беньямин, В. Рассказчик. Размышления о творчестве Николая Лескова // Озарения. М.: Мартис, 2000. С. 346.

² Далее: В. Б.

³ Далее: Р. К.

⁴ Др.-греч. *ἀνάβασις* — «восхождение».

⁵ От др.-греч. имени нимфы *Καλυψώ* — «та, что скрывает». Термин О. А. Ханзен-Лёве, отражающий прием русской культуры Серебряного века, заключавшийся в «маскировке», «игре», «создании неверной видимости».

⁶ Ханзен-Лёве О. А. Интермедальность в русской культуре: От символизма к авангарду. М.: РГГУ, 2016. С. 134.

⁷ От др.-греч. *ἀποφατικός* — «отрицательный», «негативный».

⁸ Бадью А. Малое руководство по инэстетике. Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014. С. 34.

⁹ Там же. С. 33.

¹⁰ От др.-греч. *πάθος* — страсть.

¹¹ А. Мальдине, О сверхстрастности// (Пост)феноменология: Новая феноменология во Франции и за её пределами. М.: Академический проект; Гаудеамус, 2014, С. 162.

¹² «Путеводитель Души к Богу» (лат.)

¹³ От др.-греч. *καταφατικός*, «утверждающий».

¹⁴ От др.-греч. *ἔσχατον* — предел, конец истории.

¹⁵ А. Мальдине, О сверхстрастности// (Пост)феноменология: Новая феноменология во Франции и за её пределами. М.: Академический проект; Гаудеамус, 2014, С. 202–203.

¹⁶ Отступничества.

¹⁷ Вино доводит до греха даже мудрецов (лат.)

¹⁸ А. Мальдине, О сверхстрастности// (Пост)феноменология: Новая феноменология во Франции и за её пределами. М.: Академический проект; Гаудеамус, 2014, С.177

¹⁹ Харт Д. М. Красота бесконечного. Эстетика христианской истины. М.: ББИ, 2010.

²⁰ Зассе С. Яд в ухо: Исповедь и признание в русской литературе. М.: РГГУ, 2012. С. 22.

Пермское мифотворчество

Сергей Терешенков. *Пермская обитель: роман с продолжением*. СПб: Маматов, 2017



Дебютная книга Сергея Терешенкова, петербуржца и гражданина мира, называется «Пермская обитель: роман с продолжением». Роман, разумеется, в цветаевском смысле («с вами у меня роман»). А «с продолжением» потому, что автор никуда уже не денется от этих мест. Так и понесет с собой шум уральских рек, колючий хвойный воздух, коми-пермяцкий язык, опыт, силы, любовь, людей и истории, маленькая толика которых проросла в книжке. Кажется, Сергей повторил путь Осипа Мандельштама, из которого Урал начал «выходить» стихами уже в Воронежской ссылке.

Писатель — одна из ипостасей Сергея Терешенкова. Сам он рассказывает о себе так: «филолог, публицист, специалист по связям

с общественностью. Родился в Санкт-Петербурге, жил в Германии, Польше и Италии». Он свободно владеет английским, немецким и польским языками. Писал для Russia Profile, Kunst im Kontext, Fotki.com, «Русского журнала» и Snob. В Перми во время «культурной революции» он занимался социокультурными проектами, после занимался бизнесом.

Книга «Пермская обитель: роман с продолжением» — своеобразная публичная благодарность вдохновлявшим людям и питавшему месту. С другой стороны — это рефлексия автора, много узнавшего и открывшего. И не спешащего ставить точку в своем романе с Пермским краем.

Можно воспринимать эту книгу как некий публичный отчет. Сергей с энтузиазмом повествует о культурной перезагрузке в Кудымкаре, проекте «Молодежная столица Европы», лаборатории «Пилорама», спецкурсе по антиутопии, прочитанном старшеклассникам одного из пермских лицеев, возможностях, которые не реализовались полностью, партнерских проектах, которые «зацепили», бизнесе и общественной

деятельности, которые то сплетались, то расходились в его жизненной практике.

Но и публичный отчет в «чистом» виде не складывается, ибо автора увлекают люди. Сергей создает прекрасные литературные портреты пермских классиков и современников: модельера Ирины Филичкиной («Царица»), издателя Ильдара Маматова («Маматов»), педагога Вячеслава Горелова («Дядя Слава»). Здесь же возникают образы писателя Варлама Шаламова и основателя Перми Василия Татищева, художника Петра Субботина-Пермяка и поэта Василия Каменского, писателей Аркадия Гайдара и Михаила Осоргина. Кого только не собрал в своей книге автор!

Но и люди его не очень «держат». Он увлеченно рассказывает о самых разных событиях и топосах, сложившихся в ходе пермских странствий. Книга Сергея позволяет более объемно посмотреть на пермскую жизнь. Удивительны заметки о пермских ресторанах, музеях и фестивалях. Есть такая пермская особенность — создавать события там, где другие видят прозу жизни. Поход в ресторан, поездка в маленький

городок, полеты на воздушном шаре, катание с горок в корыте — всё это впечатляет автора и побуждает делиться столь новым невероятным опытом. Пельмени с редькой, домашние сырники — открытия из этой же области. «Мифотворчество в Перми на каждом шагу: ходить за примерами далеко — к местным финно-уграм — бессмысленно» (СТ, «Стикс»). Эти странности и подмечает автор.

Странное ощущение создается, когда читаешь книгу не отрываясь, переходя от главы к главе, вслед за замыслом автора — времена перестают различаться. Сквозь фестиваль «Белые ночи в Перми» вдруг проступают палаты Строгановых, слышится тяжелый вздох Мандельштама или видится усмешливая улыбка экс-министра культуры Игоря Гладнева. Всё сплетено и связано, все живут на какой-то одной виртуальной территории, объединенные сознанием автора, чей пылкий ум и фундаментальная любознательность тащат за собой читателя, не давая опомниться. Автор «заваливает» нас фактами, историями, событиями, знакомит с новыми людьми и открывает доселе невиданные грани тех, кого много лет знаешь. Моим персональным открытием стал образ издателя Ильдара Маматова, ухитряющегося совмещать большой мир и малую родину в себе и в своих делах. Мы часто ищем примеры для воодушевления или подражания,

для сил и оптимизма в историях прошлого. Сергей дает нам возможность полюбить пермское в событиях современных.

В его книге много героев — как тех, кому дана развернутая характеристика, так и тех, чей портрет создается метким комментарием автора. Это очень разные люди, чьи образы позволяют заинтересоваться, задуматься или озадачиться человеком. Кто-то лишь упомянут, кто-то служит контекстом, поскольку без него чего-то бы не случилось. Неважно, плохого или хорошего. Важно, что нечто произошло благодаря.

Разноплановость интересов автора отображают его герои. С одной стороны, это люди из бизнеса, с которыми приходилось работать, с другой — партнеры по социально значимой деятельности. В результате получился субъективный каталог пермских людей, влияющих на ход жизни, творящих историю места здесь и сейчас. Автор в своих оценках и не претендует на истину, но точно взывает к диалогу. Искренность, персональный фактаж, лёгкий флёр экзистенциальности — спутники книги.

Марк Тулий Цицерон считал одной из задач оратора необходимость хвалить и порицать. Этим мерил — выделением достоинств и демонстрацией недостатков — можно измерять «Пермскую обитель». Навык хвалить и порицать как ин-

струмент социального влияния мы постепенно теряем. Сергей Терешенков этого публичного греха избежал. Насладитесь, к примеру: «Время показало, что Гладнев не просто опытный лицедей, но и отпетый лицемер», «после «либерала» Чиркунова пришёл «охранитель» Басаргин», «спустя пять лет чиновникам — в отсутствие откатов — надоели регулярные победы...» или «общество одновременно реагирует на внешний раздражитель — очередную «жареную» новость — и тут же равнодушно забывает о ней... до следующего происшествия».

Каждая история книги целостна сама по себе. Чтение возможно в любом порядке. Если читать подряд, следуя замыслу автора, избравшему для своих пятидесяти двух глав именно такую последовательность, книга, подобно омуту, затягивает. Непонятно, в каком месте и с кем ты встретишься в следующей зарисовке, но встретиться хочется и встречи ждешь. А вот если читать в произвольном, создается иллюзия, что и ты сам, читатель, прокладываешь маршрут по терешенковской Перми. Как показывает опыт, прогулки по старой или новой Перми — любимый прикамцами формат постижения мира. Ничего наш географ ещё не пропил! Пока Терешенков не побывал в микрорайоне Водники, нельзя сказать, что Пермь описана и воспета полностью. Есть ещё белые пятна на персональной карте

путешествий и открытий исследователя Пермского края, уносимого делами и трудами, но стабильно возвращающегося обитателя нашей обители. Во всяком случае, много видится мест с энергетикой и высоким потенциалом повышения познавательной активности, с перспективой для новых заметок. Кто расскажет об этих местах? Может, сам Сергей. А вдруг найдутся продолжатели «ро-

мана с продолжением», способным показать горожанам их отражения в зеркале реальности? Перспективы велики и прекрасны!

Полотно пермской жизни — в людях, событиях, местах и проектах, созданное Сергеем Терешенковым, постоянно хочется дополнять, уточнять, «дописывать» своим опытом и историями. Книга обладает интересным эффектом — побуждает

к диалогам о людях, о жизни, о городе (крае), о ценностях и принципах, о любви и отношениях, о возможностях и перспективах. «Пермская обитель» — диалог петербуржца с Пермью и пермяками. И у каждого читателя найдется, что ответить на ту или иную зарисовку автора. Это ли не повод ждать продолжения романа?

Мария Горбач

Хрусткие боскеты павлиньих ваз

Юлия Кокошко. Сумерки, милый молочник... М. — Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2018



Юлия Кокошко пишет за гранью смысла: присутствие смысла в ее текстах еще ощущается, он где-то рядом, но граница между смыслом и его опустевшей оболочкой уже позади, и порождаемая речь в таком случае, как бы она ни была фактографична, — это речь сама по себе, речь-в-себе. Притом что речепорождение как самоценный процесс для совре-

менной поэзии не является новаторством, а в какой-то ее части даже воспринимается и в качестве мейнстрима. Не случайно некоторые тексты из вошедших в книгу впервые были опубликованы в столь далеком от литературного консерватизма «Воздухе» (2017, № 1).

Если пытаться определить место Кокошко в условном пространстве литературы, то оно неожиданно окажется вполне определенным: уже не Алексей Парщиков, но еще не Павел Улитин. Некогда ошеломленный метареализмом Урал породил множество производных от него авторских поэтик: например, где-то тут прочно обосновался трансгрессивно предметный Виталий Кальпиди, чуть поодаль — радикально расщепляющий субъек-

екта речи Евгений Туренко, далее — хитроумно смещающий смыслы и грезящий бездонным небом сюрреализма Андрей Санников, затем — особняком — плавно ассоциативная Евгения Изварина, наконец, самое причудливое, что рождено в недрах уральского метареализма: тексты Юлии Кокошко. Немыслимые, невероятные.

От Парщикова здесь остается конкретная осязаемость вещи. Мир, в представлении Юлии Кокошко, весьма и весьма материален. Его предметность явлена через ощущения и «иные непреднамеренные детали», которые субъект то ли фиксирует, то ли — что вероятнее — сам порождает. Перед нами возможная версия солипсического письма, когда слегка растерянный речетворец не

понимает, где же среди этой текучей вещественности находится он сам и где же границы его сознания. Речь ли состоит из предметов и их признаков, перенимает их предметность и объективируется, или предметы — это порождения речи, идеи, ставшие материализованными в процессе говорения?

Вообще-то, сакраментальный вопрос метареализма.

Впрочем, автора, скорее, занимают другие вопросы, как бы и вовсе не предполагающие ответов:

Кто фактичнее: наши коллеги в голубиных воротах — или парочка простолюдинов на мысу трамвайного ожидания?

(Подсказка от нас: у Кокошко фактичнее все.)

Парщиковская вещь — хищник-жертва. Она поглощает и трансформирует другую вещь, чтобы быть поглощенной и трансформированной самой. Не менее хищная жизнь вещей Юлии Кокошко однако претворяется в совершенно неповторимую онтологию, и тексты этого автора — не важно, как, в какой форме они существуют: прозаических полотен (не в этой книге) или поэтических миниатюр, — именно ничем не измеряющееся торжество онтологии, ибо сама вещь, ощущение вещи и знание о вещи, повторюсь, здесь практически неразделимы:

*Снег этого года,
вытянув мерзнущие персты,
пальпирует все, к чему
приблизен —
монархов, собак, атлетов,
идеалистов,
баловней и изгоев —
до поднаготной,
или простукивает тех, кто
неуловим,
как сад, зашторившийся
в белила,
не то в барочный,
складчатый борщевик...*

Наверное, не менее интересный аспект разговора, уводящий к обещанному Улитину, — условно западный код Юлии Кокошко. «Сумерки, милый молочник...» — само название книги содержит олитературенные европейские реалии. Какой-нибудь «Ах, мой милый Августин» на фоне угловато белоснежных Альп и бесконечно поедаемых счастливыми коровами лугов цвета шартрез. Ну и, конечно, где-то тут же пестует опасных химер милый всякому сумеречному сердцу романтизм.

Скажем, что может быть романтичнее, например, этого фрагмента из цикла «Часы путешествий»?

*Ветер от озера —
с прикосновеньем
рыбы и ангела к той, чьи
глаза —
склянки с остатком,
отрава, буза,
сбоку от шнобеля — шнур
из наддверных —
с крупным обвесом
на интерес и насыщенный
звонок,*

*случай окраины с отблеском
Вены,
шпагоглотательницы,
стрекозы...*

Но стоит предупредить: те, кто ожидает от Юлии Кокошко романтических красот и только их, могут остаться разочарованными. Красоты в книге есть, однако вполне дозированно: то в виде утонченной метафоры, то как лексическая россыпь экзотизмов. В конце концов, «уголки радушного божелесья» все равно нарушит если не бурелом, то костолом.

*Итого: на дорогах
счастья — куда больше
прилежания.
В лунном свете наверняка
отражается
их желтый кирпич... или
в красных колпаках
дорожных крыш мерещится
— встающее солнце
и все, кого поднимают,
взвивают, вздергивают...*

И уж если заговорили про путешествия, то нельзя не добавить, что внутренняя сюжетика текстов Юлии Кокошко часто связана именно с идеей путешествия, теми «часами путешествия», которые обещают движение по непредсказуемой пространственно-временной траектории. Часы тикают на протяжении всей книги, фиксируя то ВТУЗ-квартал с его пыльной советской недоэкзотикой, то пропитанную югом дорогу в утренний порт, то загадочную Малую Сумрачную-Продувную, то туман-

ный перелаз из Швейцарии в Австрию. Стоит ожидать, что где-то тут печально проедет автобус № 84, мелькнет анонс о распродаже конфискованных за день товаров, а Ольга Львовна, преподающая птичье пенье, будет зачем-то или от чего-то спасена молодым и добросердечным Виталием Альбертовичем, пишущим статьи для журнала из списка ВАК. Но останавливаться не будем — путешествие продолжается — на Запад, на Восток, на Юг, а то и в воображаемое пространство без определенной геокультурной конкретики, пространство загадочных заглавных букв, где есть платформы Пенал и Очковый Футляр, улица Реставрации, Магриттов лес, да и чего только нет

и какими только обитателями оно не кишит.

Но, пожалуй, интересно, что Север у Юлии Кокоско, в отличие от целого ряда уральских поэтов, не выступает как географическая доминанта, хотя так или иначе присутствует в текстах.

*Может быть, услышав
октябрьскую дудку
на прозрачном льду,
под которым мозжит
и пенится пруд, как
и вчера, и в тягучее лето,
хлюпает и кружит,
никак не наполоскавшись,
собралась, как честная
утка,
улететь уплыть...
но конфузно бежит,
перебирая онемелыми
желтыми лепестками...*

Юлию Кокоско сложно назвать певцом уральской ойкумены. Путешествие, о котором мы здесь говорим, имеет явную эскапистскую подоплеку: подальше от действительности.

Таким же, хотя, на самом деле, более радикальным эскапистом был «писатель воображаемого Запада» (повторим Алексея Конакова) Павел Улитин, работавший принципиально и исключительно с мерцающими смыслами. В случае же Юлии Кокоско сумрачное мерцание все-таки выстраивается в пусть и фрагментированные, но импрессионистически целостные и завораживающие картины.

Юлия Подлубнова

Кто это всё сочиняет

Александр Самойлов. *Водолаз провел под водой четырнадцать лет.* — М.: Ridero, 2018



Книга Александра Самойлова (пятая по счету, включая «Маршрут 91», выложенный на гугл-картах, — это ли не

концептуализм?) развивает самим фактом (и способом) происхождения концепцию периферийности и, осмелюсь сказать, внеаходимости авторского голоса. Дистанция как ключевой фактор, как единственный посредник в коммуникации с миром — будь то бытовой сюжет или взгляд в сторону истории — определяет способ существования автора и его персонажа.

О персонаже будет сказано ниже, а пока о самой книге. Она издана в Ridero,

стало быть, у нее нет издателя, редактора, тиража (и мало кто понимает, как ее приобрести — будто бы и сама книга ускользает). Зато она состоит сразу из двух сборников: «Дворы» (2017) и «Книжный магазин поэзия» (2018). Синтаксис второго названия — не только игра, Александр Самойлов действительно тащит на себе, в буквальном смысле, одноименный проект: он добывает повсюду книжки современных поэтов (каковых книжек, а не поэтов, в Челя-

бинске просто нет) и прода-ет их по цене, назначенной автором или издателем, на литературных мероприятиях всем, кто приходит — в основном самим поэтам. Иначе говоря, поэт Самойлов и его рюкзак и есть «Книжный магазин поэзия».

Немногочисленные издатели современной поэзии без труда поймут этот жест, но Самойлов-то — не издатель, мотивы его неочевидны: он не притворяется близко с коллегами по цеху, не засиживается после мероприятий, не ищет так называемого профессионального общения. Приносит книги, раскладывает, дожидается окончания чтений, собирает, уходит.

*мальчик с огромной сумкой
россия
откуда в тебе переть ее
сила
рутений на завтрак
на ужин свинец
и будущий холод девичьих
сердец*

*мальчик с огромной сумкой
россия
ты вырастешь старый
больной некрасивый
над домом твоим встанут
волки и псы
но если получится то ты
не ссы*

*мальчик с огромной сумкой
россия
я говорю хоть меня
не просили
и ничего мне не надо
в ответ
маме привет*

Один из ключевых текстов книги вполне ясно демонстрирует природу и необходимость дистанцированного внимания, неопределенность место- и «время-положения», двойственность лирического персонажа и присутствие масок. Авторский голос обращен в равной мере и к неизвестному (нам, а ему, быть может, известному — не разберешь) мальчику «с огромной сумкой россия», и к себе-мальчику из прошлого — с нелицеприятным пониманием настоящего, которое обоим мальчикам вменяется, как герою подвиг, а волку зубы. Непрямое указание на место и время (кто помнит, где и когда случился фейковый рутений, тот молодец) подсказывает читателю, что у этого сценария нет края: во времена Одиссея и короля Артура, и когда наш прах развеется, «мальчик» продолжает мифическое шествие — и если получится, не засыт, — впрочем, закадровый голос не настаивает ни на чем. Зато он поддерживает эпический каркас этого текста вневременным «я говорю хоть меня не просили / и ничего мне не надо в ответ» — «я» говорит именно из парадигмы вневнимости, сопереживающего внимания и непреодолимой отдельности, из собственного опыта событийного и бытийного. Двойственность присутствует и в гипертексте (вот и вы теперь знаете, что Самойлов тащит на себе целый книжный магазин), и

в самом стихотворении персонаж отражен зеркалом будущего, оно же чье-то настоящее, — так вневнимость распространяется волнообразно и приобретает пиковое значение в последней строчке: «маме привет». Этот пронзительный жест опрокидывает игровую реальность, переводит «мужской разговор» в модальность чуть ли не исповедальную: мама здесь оказывается высшей духовной инстанцией, владельцем метафизического дома, который охраняет от псов и волков. И если мыслить «мальчика» как прошлое авторского голоса, то он еще способен вернуться домой и застать там маму, которая спасет и сохранит. Так одинокий голос, не ждущий ответа, обращен одновременно к Другому, к собственному прошлому и, опосредованно, к главному собеседнику — к маме.

Мама в стихотворениях Самойлова появляется часто. Особенно в сборнике «Дворы», более лиричном, менее игровом. Вот он возвращается в «чужой» дом, где «в пустоте висит икона / из журнала огонек» («здравствуй мама / я вернулся» — а возвратились, как известно из песни, не все, а кто вернулся — тому хату сожгли); вот его «ангелы-охранники» ввиду божеватости в рай не пускают: «холодно на улочке / мамочка-мамулечка / мне через решеточку / весточку подай» (мотив рая-тюрьмы, куда забрали маму от сына — он теперь и здесь один, и

туда не берут, и маму уже не вернут). Или вот блестящий, по-моему, текст, отсылающий к библейскому мотиву, и высшей силой здесь опять оказывается мама:

*на них не действует
реклама
их не пугает страшный суд
короче
им сказала мама
и выставила прямо в пруд*

*они идут и выше воды
они идут и вот рука
снимает с них закон
природы
как будто нитку с пиджака*

Мотив чуда тоже нередко встречается в книге. Иногда это ожидание чуда, как в монологе внучки «дедушки эм», иногда оно вспыхивает здесь и сейчас, как в приведенном выше тексте, оно может возникнуть из кривого зеркала повседневности, как в стихотворении «девочка кидает монетку / уличному музыканту» (на мой вкус, это один из лучших текстов сборника «Дворы»). Чудо может оставаться «за кадром», как в шестистрочном рассказе об алкоголике на перекрестке — этот персонаж существует на стыке золотого века русской поэзии («Пророк», где на перепутье является поэту известно кто), политическо-го казуса с поцелованным в живот мальчиком и привычного детям окраин быта, когда нетрезвый любящий папа пытается передать выстраданный жизненный опыт

малолетке, а тот потом полжизни тщится разгадать тайну родительского послания:

*на перекрестке алкоголик
ребенка за руку держал*

*на перекрестке алкоголик
перед ребенком речь держал*

*нет и не будет оправданья
сказал и в лоб поцеловал*

Сложно и нелинейно сконструированы многие тексты книги. В них могут оказаться защиты такие далекие друг от друга сообщения, что сомневаешься в собственной догадке. Например, в стихотворении, давшем название книге, «водолаз провел под водой четырнадцать лет», написанном как оммаж персонажам Сваровского (или все-таки Уфлянда?), с одной стороны очевидным образом возникает фигура Капитана Америки, супергероя из комиксов Marvel, который «провел под водой» несколько десятилетий и вернулся спасать современный мир от зла, как спасал прежде от нацизма, с другой стороны, сквозь финал «но человеческая речь давно ему непонятна» смутно проступает павший во Второй мировой солдат по имени Саша из «Баллады о без вести пропавшем» Александра Дольского («И я лежу уже десятилетия / в земле чужой, я к этому привык, / и слышу: надо мной играют дети, / но я не понимаю их язык»). Водолаз, к слову сказать, никогда спасать не собирается, он

отчужден от нашего времени, где «все его понимают / и не ругает никто», отсутствием прежних человеческих привязанностей и утратой «милого дома» — последний связан с детством и юностью, водолаз остался в них и не может понять «взрослый» мир, из которого изъяты все, по отношению к кому он был ребенком.

Фантазийная, фантастическая, альтернативная реальность — особый дар Самойлова. «Евтушенко был не настоящий / настоящего сложили в длинный ящик / отключили функцию ума / и отправили на станцию зима» — не правда ли, прекрасная версия? Утешительная. Или невероятно смешной и жуткий текст о том, как «господина дудя вызвали в подземный телерадиокомитет» — ну наверняка должны были вызвать! Разве нет? Все допущения у Самойлова не просто правдоподобны, они кажутся лучшей версией реальности. Более логичной, что ли. Так мог бы ум ребенка объяснять тягостную бессмыслицу взрослой жизни, заполнять лишние содержания и чувства лакуны.

Тут интересно было бы вернуться к размышлению о лирическом субъекте этих стихов. Как было сказано выше, это персонаж, маска, как, скажем, у Дмитрия Александровича Пригова или Олега Григорьева. Часто это такой простой человек с городской окраины, не то чтобы слесарь, но университетов не кончал, потому многому в этой жизни он

трогательно удивлен и видит связь вещей не там, где она привычно располагается. То ему кажется, что Евтушенко подменили, то ход жизни замер потому, что девочка уличному музыканту монетку бросила, то всякий человек («и даже сама пустота») становится похож на Христа, когда отправится на ослике в дальнюю дорогу, то «из москвы / приходит пакет / затянуть пояса / потуже» — и вот уж «вареная кошка / в горло не лезет» от того, что исходит от той «москвы» неимоверная красота. Персонаж этот существует с оглядкой на обэриутов и лианозовцев, концептуалистов и Андрея Родионова, Федора Сваровского и Виталия Пуханова, может быть, даже Леонида Шваба. Стихи уральских коллег нет-нет да и понадобятся Самойлову зачем-нибудь. Он такой наивный реалист, взгляд его не

вполне свободен от детской оптики, одновременно созидательной и очень беззащитной. Если знать, как Александр Самойлов читает стихи, можно запросто утвердиться в ощущении, что персонаж этот говорит в никуда, как радио, — в надежде, что его услышат. И неважно, кто услышит («сочинил же один человечек / что бывает диалог на земле»: сам-то он слышит!) и что за этим последует. Но вот он стоит на каком-то немудрящем возвышении посреди пересеченной местности и сообщает свои удивительные новости, рассказывает чудесные истории — лирические и иронические. На окраине города и цивилизации, в лесополосе, в маршрутке — всюду ему нетрудно говорить, всюду он видит тех, кто достоин сочувственного невмешательства: мужья и жены, старики и алкоголики, дети и пленные марсиане, наконец,

белочки, которые выпрашивают орехи с целью «унять метафизический ужас». Персонаж утверждает, что нет у него никаких орехов для вас, белочки, так что давайте уже сами:

*но у меня как на грех
не было никаких орехов
и метафизическому ужасу
я противостоял
без особых успехов*

*поэтому я до сих пор стою
там
между июнем и маем
а кто это все сочиняет
не знаю*

Удивительно, что Самойлов сочиняет очень разные стихи — интонационно, интенционно. Эти две книги под одной обложкой — читательская удача. Жаль, что их почти невозможно купить.

Наталья Санникова

Пузыри на губах душевнобольного

Александр Петрушкин. Белый шум. М.: Ridero, 2017

Если бы уральская поэтическая школа существовала как школа, а не черт знает что, то Александр Петрушкин в ней вполне мог бы претендовать на звание заслуженного педагога. Ведь что такое педагог? Это, во-первых, неуловимый тип. Его нельзя поймать на слове, нельзя ничем удивить (разве что вашим собственным

невежеством), нельзя поставить в тупик. На любой ваш вопрос у него готов ответ, вернее, не ответ, а отпор, в котором важна не содержательная сторона, а сам факт. Содержательная сторона может представать при этом в виде какой угодно чуши, ведь педагог — и это во-вторых — не занимается производством смыслов,

он показывает, как их нужно производить. Поэтому, в-третьих, цель педагога — воспитание неблагодарного ученика.

Если представить книгу Александра Петрушкина в виде другого объекта, то это будет стеклянный кубик Рубика, изрытый извилистыми ходами, испещренный пустотами, лакунами и кавернами,



в которые ртутными шариками стекаются разнообразные части речи, за исключе-

нием разве что предлогов. Предлоги — это несущие конструкции этого объекта. Выньте из текста Петрушкина предлоги, и он белой простыней без привидения упадет к вашим ногам. Ведь неважно, синица внутри тигра или тигр внутри синицы, важно, что одно вынимается из другого, а другое — из третьего, и для того, чтобы попасть в пункт Б, надо непременно выехать из пункта А.

Внешняя расхлябанность стихов Петрушкина — это

пузыри на губах душевнобольного, намертво зафиксированного дюжими санитарами. Железной рукой гонит Петрушкин свои тексты, но не к счастью, а по кругу, ибо для того чтобы до счастья дойти, надо сначала научиться ходить. Демонстрация с поучительными целями — это утопия, и грех хотя бы одним глазком не взглянуть на то, как эта машинерия функционирует.

Александр Самойлов

Рыбы, сети и текущее «я»

В книге «Белый шум» представлены произведения Александра Петрушкина за 2016–2017 год. Уже в самом названии автор оставляет загадку для читателя, с мистическим и одновременно научным термином «белый шум». Общеизвестно, что это равномерно звучащий шум, который по отношению к человеку оказывает усыпляющий и успокаивающий эффект, вводит в транс. С точки зрения мистики, в «белом шуме» можно услышать сообщения от давно умерших людей, отзвуки прошлого. Эти два значения термина очень гармонично сочетаются и подходят поэзии Александра Петрушкина. Но каждый отдельный текст поэта отличается особым символизмом. Кажется, что перед тобой хокку японского

мудреца, но это связано не с формой стихотворений, а с их содержанием. Уж очень резво перескакивает автор с одного образа на другой, сохраняя при этом полную картину произведения. И в этом специфика поэзии Александра Петрушкина — он многолик и многоголосен:

*Дзен бабочки парящей
в молоке,
чей камушек спит частью
в лабиринте —
глазною половиною на свет
он вывернут и смотрит
в тесный вывих,
что в коромысле бабочки
летит
и свёрнут в дыры от её
полёта,
где тростниковый дождь,
как вол, звенит
и верба, как Мария,
недотрога.*

Религиозные мотивы сочетаются с метафизикой и житейскими бытовыми историями. То читатель погружается в библейскую историю, то во времена Александра Сергеевича Пушкина, то в современность. После второго и третьего прочтения можно услышать тот самый «белый шум» и погрузиться в транс. Вживую, слушая чтение стихов, эхом отзывается ранний Бродский. Однако в отличие от поэзии Бродского, поэзия Петрушкина более абстрактная, очень трудно представить в сознании эти образы, настолько они сюрреалистичны:

*Скорлупка хрустнет
воздуха. Войдёт,
похожая на лодку, первой,
кровь —*

как выдох, выплавляя
до шмеля
воронку света, соту.
Это — я?

Особое место в поэзии Петрушкина занимает образ рыбы — одного из главных символов Христа. Вместе с рыбами в поэзии часто встречаются мотивы воды, сетей:

Рыба — то роза, то крест,
а то сеть воздаянья,
горка, которую пряжа
пейзажа стекает обратно,
в веретено на треть
непрозрачного неба,
как чуда,
где разговор — шум дождя,
что катается в камне.

Или:

Я пойман на блесну
из выдоха и света
прижатого ко дну
кувшина человека.

Время и пространство в поэзии Петрушкина находят вне читательского воображения, это словно карандашные линии на невидимом холсте художника, которые

ещё не превратились в законченное произведение. Лирическое я стихотворений находится в текучем, зеркальном пространстве, поэт использует типичные противопоставления в нетипичных конструкциях:

тёплый хлеб земли с водою
мёртвой — потому живой
я стою перед тобой
а точнее — за тобой.

Александр Петрушкин часто обращается к религиозным, историческим и мифологическим персонажам: «...в ладонях у блудливых рыбаков, которыми в пейзажи замерзаем двадцать девятого, как будто октября, где бабочка, как яблоня и сфера — и ты, как Полифем окаменев, не покидай тебе назвавшейся пещеры», «...вспоминаешь ось, вынущую осу из Кирилла с Мефодием кулака», «Заплати ему два-три обола, не жмоться, слова — в телефонной книге, как в Иерусалиме, найдя Иова». Они вплетаются в сюжеты произведений гармонично, как часть мозаики.

Обращение к истории, религии и мифам делает поэзию Петрушкина интертекстуальной. Это отмечает и литературный критик Анна Сидякина: «Петрушкин лирик и романтик. Он открытой душой откликается абсолютно на все голоса современных уральских поэтов от старших — до самых молодых. В этом смысле главная его особенность — интертекстуальность».

Поэзия Александра Петрушкина крайне динамична, как вода, которая появляется в его стихах. Он несёт мысль быстрее, чем слово, словно река, превращающаяся в водопад, в связи с этим уместна цитата Сидякиной о том, как поэт «бросается в каждое своё стихотворение»: «И либо тонет, либо, нахлебавшись, все-таки выплывает». Это и возвращает нас к названию сборника «Белый шум», как способность увидеть через многоголосье и многообразие образов лирическое «я» поэта.

Ольга Школина

Грунт, роса, воздух и пена

Антон Бахарев-Чернёнок. *Квантовая пена*. — Пермь: Сенатор, 2018

Квантовые физики рассмотрели новую теорию о происхождении космоса: они предложили под микроскопом взглянуть на пространство и выяснили, что даже

при увеличении в 100 млрд раз человек будет смотреть на космос, словно там ничего нет. Это явление можно назвать «квантовой пеной», представляющей собой вир-

туальную частицу, существующую за счёт колебаний пространства.

Понятие пространственно-временной, или квантовой, пены используют для того,



чтобы описать предполагаемое строение Вселенной на ее самом фундаментальном уровне.

Пена задумана в качестве основы ткани Вселенной: это и величайшая загадка, и основа нашей жизни.

Именно такое название — «Квантовая пена» — дал своему третьему сборнику стихов пермский поэт Антон Бахарев-Чернёнок. Книга включает стихотворения, написанные в последние пять лет — с 2013 по 2018 год, они объединены в четыре блока: «Воздушные замки», «Точка росы», «Грунтовые воды», «Квантовая пена». По словам автора, таким образом обозначена степень согласия, с какой лирический герой вырастает в окружающий мир.

Новая книга тематически перекликается с предыдущими сборниками Бахарева-Чернёнка: «Живи сюда» (2011) и «Рилика» (2013). В сборнике «Квантовая пена» поэт напоминает читателям о том, что было объектом его размышлений последние несколько лет, и позволяет увидеть, к чему привела Нить.

Обнажает перед читателем мыслительный процесс, приведший к постижению сути мироздания.

Мотивы двоякой природы осязаемых вещей берут начало оттуда. Но пылливый ум наблюдателя — лирического героя — еще не в состоянии определить природу этого явления, объяснить его, понять. Перед читателем есть вещь и связующая нить — но не видно ее окончания, Вещь связана с Тайной.

В восприятии мира преобладает бытовой уровень, физически ощущаемое, чувственное: «*О, в летний вечер слушать рельсы, / На грядках выстояв полдня!...*» Лирический герой этих стихотворений восторжен, он влюблен в жизнь и восхищен ею. Это ощущаемое кожей простое человеческое счастье, доступное всем: «*И мы, зрителя тревожа, / Гадаем, вслушиваясь в даль, / Кого в грунтовом бездорожье / Примчит божественная сталь*». Читая эти строчки, начинаешь чувствовать тепло закатного июльского горячего солнца, особый запах, который всегда исходит от нагретых за день шпал; слышать неумолкаемый стрекот кузнечиков и голоса и смех друзей.

Привычные вещи, которые мы держим в руках каждый день, о которых и не думаем, начинают из бытовой жизни уходить — постепенно, медленно, каждую свою частицу отдавать вечности и приобщаться к ней: «*Ты спросил меня: "Есть вре-*

мя?" / Ешь, конечно! Звёзды — крошки. / Память — полость для варенья, / где плоды и плодоножки, / волосина, лист и клоп / обрели один сироп» — этот самый сироп наверняка с того же стола, что и первичный бульон. Видимый ежедневно мир начинает меняться на глазах: «*Проросли в другие вещи, исказив ретроспективу, / рыжий кот, жужжащий шершень / и колючая крапива*», «*В августовскую тьму / Прорастают звёзды, как иней мира*». И в завершение абсолютный переворот сознания: «*С точки зрения пространства / нет ни юности, ни детства / по отдельности, лишь масса / дней, спрессованная в тесто*», «*Мы открыли время, считая волны, / А за ним — смертельную страсть к искусству, / Что видна, когда, без дождя и ветра, / И вне птиц, в небесную взмывших окись, / Вдруг сама собою качнётся ветка, / Под картиной мира поставив подпись*». Мы живем в необычном мире, и все, что видим, таит в себе не один смысл, доступный зрению и слуху, но множество связей с вещами, ведущими своё существование со времен намного более ранних, чем время появления человека... Так просто и понятно (что даже удивительно, как можно было не замечать этого раньше?) все, что нас окружает, невидимой, но прочной нитью связано с первозданными явлениями миропорядка.

«Квантовая пена» — название сборника стихов и одновременно название заключительного блока. Проследив за вещью и ее уходом в не-вещный мир, лирический герой и сам присматривается и видит себя частью всех миров одновременно: *«вдруг само уходит время / из этих берегов с наплывами смолы, / где, словно комары, в двойном нуле, как в сфере, / застыли и поднять не могут головы / такие времена, что не хватает Бога — / раздать имён вещам!..»* Человек оказывается в мире, перевернутом сверху вниз, где все условно и конкретно лишь его к этому

всему отношение: *«В такие времена / я сам себе не свой, легко и одиноко; / и если их сложить, накопится одна / секунда. Мне б жалеть, что этого не много — / когда бы не была условною она».*

На этом многоточии завершается книга. А у слушателей и читателей остается масса тем для раздумий, и любая логическая цепочка непременно имеет оптимистический финал. Так задумано, в окружающем нас мире всё взаимосвязано, и случайностей не происходит. Правильнее было бы подвести итог всем умозаключениям, сделать общий вывод — но как раз-таки говорить о чем-либо

еще совсем не хочется. Сборник «Квантовая пена» стал завершением определенной темы в поэзии Антона Бахарева-Чернёнка. Знакомые с его творчеством читатели не могут не заметить ее развития — «Квантовая пена» стала ответом на многие вопросы, получив эти ответы, говорить о чем-то еще нет желания и нужды: все уже сказано, «еще одно слово будет лишним». И опять же, невыразимую в словах благодарность хочется высказать пермскому поэту за то, что позволил так легко и одновременно глубоко взглянуть на жизнь.

Валентина Ясырева

Авторы номера

Владимир Бекমেетьев родился в 1991 году в Перми. Окончил философско-социологический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета. Принимал участие в поэтических фестивалях «Биармия» (Пермь, 2013), «Белый воробей» (Каменск-Уральский, 2016). Публиковался в журналах «Вещь», «Русский Гулливер», Stenogramme, «Полутона». Стихи вошли в лонг-лист «Премии Русского Гулливера» (2014) и премии им. Евгения Туренко (2016). Автор книги «Недужный падеж» (Пермь, 2017). Живёт в Перми.

Денис Быков родился в 1995 году в Иркутске. В Пермь переехал в 1999 году. Учился в Петербургском институте иудаики. Пишет стихи и прозу. Ранее не публиковался.

Катерина Гашева родилась в 1990 году в Перми. Окончила психологический факультет ППГУ. Первая публикация состоялась в 2005 году в альманахе «Илья». Лауреат «Илья-премии» (2004; с подборкой стихотворений); лауреат поэтической номинации фестиваля им. Валерия Грушина (2008), участница Форума молодых писателей России в Липках (2009, 2010), финалист премии им. Максимилиана Волошина (2011). В 2011 году вошла в шорт-лист премии «Дебют» в номинации «Фантастика» с романом «Штабная».

Евгения Изварина родилась в 1967 году в городе Челябинск-65 (ныне Озёрск) Челябинской области. Окончила Челябинский государственный институт культуры по специальности библиотекарь-библиограф. Работает журналистом в газете Уральского отделения РАН «Наука Урала». Автор вышедших в Екатеринбурге книг стихов «Сны о великом плавании» (1996), «По земному кругу» (1997), «Страны ночи» (1999, вместе с книгой О. Дозморова «Пробел»), «Пояс Ориона» (2004), «Голос и ветер» (2007), «Времени родник» (2010). Стихи публиковались в журналах «Урал», «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Север», «Звезда» и др., в сборниках и антологиях. Лауреат литературной премии им. Бажова (2011). Член Союза писателей России с 2000 г. Участница второго и третьего тома антологии «Современная уральская поэзия». Живёт в Екатеринбурге.

Альмира Зебзеева родилась в 1938 году в городе Чусовом Пермской области. Окончила Пермский государственный университет (1959). Работала в газете «Молодая гвардия». С 1963 по 1994 год работала в Пермском книжном издательстве: редактором, заведующей редакцией, главным редактором. С 1969 по 1984-й — автор и ведущая передачи «Оляпкина почта» на Пермском ТВ. С 1995 года сотрудничает как литературный редактор с редакционно-издательским центром «Здравствуй». Член Союза журналистов России (1958). Заслуженный работник культуры России, лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара (1979). За подготовку многих изданий удостоена дипломов лауреата Московской международной книжной выставки-ярмарки и Всероссийских конкурсов «Искусство книги».

Наталья Земскова — журналист, театральный критик, писатель. Окончила Ленинградский государственный педагогический институт. С 1994 по 2007 год работала заведующей отделом культуры газеты «Звезда». Член союза журналистов России с 1995 года. Автор романов «Детородный возраст» (СПб: Астрель, 2010) и «Город на Стиксе» (М.: Арсис-Букс, 2013). Живет в Перми.

Антон Корвски родился в Светлограде в 1979 году. Окончил Ставропольский университет по специальности «Лингвистика, информатика и межкультурная коммуникация». Окончил курс режиссуры и мастерства актера в мастерской Германа Сидакова (Москва). Изучал экспериментальный театр и педагогику, перформативные практики, контактный танец, импровизацию и идеокинезис. Жил в Москве, Вильнюсе, Тель-Авиве, Перми и Санкт-Петербурге, путешествовал по Индии. Публиковался в сборнике «Молодые поэты Ставрополя». Финалист открытого поэтического конкурса им. Поликарпа Шестакова «Отечества священная палитра», шорт-листер международного литературного конкурса «Большой финал» 2017–2018 в номинации «Художественный перевод. Поэзия». Живет в Перми.

Ян Кунтур родился в 1970 году в Перми. Окончил филологический факультет Пермского университета. Литератор, краевед, журналист, путешественник. Публиковался в сетевых изданиях «Мегалит», «Цирк «Олимп», «Литература», «Полутона». Автор книг «Пленники города» (Пермь, 2012), «Книга на краю жизни» (Будапешт, 2013). Живет в Будапеште.

Андрей Мансветов, поэт, публицист, культуртрегер. Автор четырех поэтических книг, участник ряда антологий и сборников, в том числе «Лучшие стихи», «Поэтический атлас России». Стихи опубликованы в журналах «Москва», «Белый ворон», «Знамя», «Плавучий мост» и др. Живет в Перми.

Алексей Сальников родился в 1978 в Тарту. С 1984 года живет на Урале: сначала в посёлке Горноуральский Свердловской области, затем в Нижнем Тагиле. Публиковался в «Литературной газете», журналах «Уральская новь», «Воздух», «Урал», альманахе «Вавилон», выпусках антологии «Современная уральская поэзия». Окончил 2 курса сельскохозяйственной академии, проучился один семестр у Юрия Казарина на факультете литературного творчества Уральского университета. Ученик писателя Евгения Туренко. Автор нескольких поэтических книг и трех романов «Нижний Тагил» (Екатеринбург, 2011), «Петровы в гриппе и вокруг него» (М., 2017) и «Отдел» (М., 2018). Лауреат премий «НОС» и Национальный бестселлер (обе за роман «Петровы в гриппе и вокруг него», 2018). Живёт в Екатеринбурге.

Павел Селуков родился в Перми в 1986 году. Окончил пермское училище по специальности «автослесарь». Работал на кладбище, формовщиком на заводе, вышибалой в клубе. Сейчас — колумнист интернет-журнала «Звезда». Пишет прозу последние два года. Ранее не издавался. Живет в Перми.

Вещь: Литературный журнал. — Пермь: Издательство «Сенатор», 2018. — 124 стр.

Редактор:
Павел Чечёткин

Выпускающий редактор:
Юрий Куроптев

Дизайн обложки:
Иван Моисеенко

Вёрстка, дизайн:
Евгения Тесленко

Корректор:
Марина Артемова

На обложке, стр. 3, 6, 15, 20, 30, 37, 45, 87, 90 использованы иллюстрации Ксении Чарыевой из цикла «Ваянг».

На стр. 96 фото Надежды Николаевны Гашевой. Автор: Эдуард Котляков (wikipedia.org).

На стр. 103, 106, 108 коллажи Дениса Быкова.

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу:
e-mail: senator.perm@gmail.com

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Тираж 200 экз.

Адрес редакции:
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 21
Тел. (342) 212-32-17
e-mail: senator.perm@gmail.com



- © «Вещь», 2018
- © Авторы, 2018
- © Издательство «Сенатор», 2018

Поддержка проекта была осуществлена министерством культуры Пермского края

